

Несчастный (1855)

Шевченко Тарас Григорович

24 генваря

Крепость Орскую местные киргизы называют *Яман-Кала*. И это название чрезвычайно верно определяет физиономию местности и самой крепости. Редко можно встретить подобную бесхарактерную местность. Плоско и плоско. Для киргиза, конечно, это ничего не значит, — он сроднился с этим пейзажем. Но каково для человека, привыкшего в окружающей его природе видеть красоту и грацию, и очутиться вдруг перед суровым однообразным горизонтом неисходимой, бесконечной степи? Удивительно, как неприятно такой пейзаж действует на одинокую душу новичка.

Крепость Орская как нельзя более в гармонии с окружающей ее местностью. То же однообразие и плоскость. Только и отделяется немного от общего колорита крепости — это небольшая каменная церковь на горе, заметьте, на яшмовой горе. Под горою с одной стороны лепятся грязные татарские домики. А с другой стороны, кроме таких же грязных домиков, инженерный двор с казематами для каторжников. Против инженерного двора длинное низенькое бревенчатое строение с квадратными небольшими окошками; это баталионные

го казармы, примыкающие одним концом к деревянному сараю, называемому экзерцисгауз, а другим концом выходящие на четырехугольную площадь, украшенную новою каменною церковию и обставленную дрянными деревянными домиками. «Где же самая-то крепость?» — спросите вы. Я сам два дня делал такой же самый вопрос, пока на третий день, по указанию одного старожилы, не вышел в поле, по направлению к меновому двору, и не увидел едва приподнятой насыпи и за ней канал. Канал и насыпь сравнительно не больше того рва, каким у нас добрый хозяин окапывает свое поле. Вот вам и второклассная крепость.

Налюбовавшись досыта на это диво фортификации, я уже перед вечером возвращался через слободку на квартиру. И, поворотя за угол бедной лачуги, я увидел идущую толпу солдат с балалайкою и бубном. Толпа против лачуги остановилась, из толпы образовался кружок, грянула лихая песня с бубном и присвистом, и из толпы послышалось:

— Ай да помещик! Ай да дворянин! Орел! Просто орел! Такие восклицания меня остановили. Я уже думал было подойти к веселым ребятам и полюбопытствовать, что там такое за помещик, только в это время толпа расступилась, не прерывая песни, и впереди ее явился в разорванной рубахе статный белокурый юноша и, ловко подбоченясь, пошел вприсядку.

Меня поразила наружность этого юноши. Что-то благородное было в нем и что-то низкое, отталкивающее. Я не мог его рассмотреть подробно, мне что-то мешало смотреть на него, и, отходя прочь от толпы, я спросил у солдата, который мне показался трезвее своих товарищей:

— Кто это такой у вас так славно пляшет?

— Несчастный! — ответил мне солдат скороговоркою и поспешил за толпою.

Слово «несчастный» странно как-то было произнесено з солдатом. Мне показалось, что он этим

словом называет какое-то сословие, а не то, что оно собственно выражало.

После я узнал, что там и кроме солдат так произносили это слово, а когда я освоился с ним, то я и сам его произносил точно так же.

Человек сам не замечает, как он быстро осваивается с людьми, его окружающими.

В продолжение ночи мне все мерещился белокурый молодой атлет и слышались слова: «Ай да помещик, ай да дворянин!»

На другой день пошел я разузнавать, кто такой это[т] несчастный. И я, разумеется, не мог узнать ничего, потому что он не один, как мне после сказали, находится в Орской крепости. Был какой-то праздник, и я от нечего делать пошел побродить по безотрадным окрестностям крепости. И перед вечером, возвращаясь домой, как раз у кирпичных заводов повстречал кучку веселых ребят с бубном и с балалайкой и знакомого незнакомца-плясуна и услышал те же самые возгласы. Чтобы не упустить его опять из виду, я отозвал одного солдата в сторону и потихоньку спросил, как прозывается дворянин, что пляшет. Он мне сказал его фамилию, и я на другой же день в батальонной канцелярии прочитал его грустную конфирмацию. Это был юноша, написанный в рядовые по просьбе родной матери. Это происшествие меня сильно заинтересовало, но как разгадать подобную загадку? Я лучше ничего не мог придумать, как познакомиться с самим субъектом и узнать от него самого всю истину. И как же я ошибся, увы!

Это было что-то вроде идиота. Трезвый, он упорно молчал. От одной рюмки водки он пьянел и начинал проклинать мать свою, самого себя и все, что его окружает. Одна пляска для него имела еще какую-то прелесть, а больше ничего.

Я попробовал было его со стороны образования, и он мне такую чепуху загородил, что лучше было б и не пробовать. Однажды приходит он ко мне навеселе и видит у меня развернутую книгу на столе. «Что это вы почитываете? — спрашивает он. — „Мертвые души“? — а, это сочинение Эжена Сю». — «Точно так», — ответил я.

Немного, я думаю, найдется моих читателей таких, которые бы мне поверили, что это было действительно так, а это было действительно так.

Так вот такая-то *Яман-Кала*: сама по себе она неказистая, а вмещает в себе такие редкие субъекты, что не мешает их описывать самым тщательным манером.

В одной из центральных губерний нашего неисходимого отечества, близ уездного городка N., вдоль большой дороги вытянулись в ряд серые бревенчатые, с закоптелыми волоковыми окнами избы, и этих серых изб я насчитал штук более 200. Выходит, село по величине порядочное. Но на взгляд далеко не такое. И странно: кругом дремучие леса, а в селе ни одной избы хоть мало-мальски порядочной: та без клетки, та без сеней, та пошатнулась, а та совсем повалилась. Кругом все растет и зеленеет, а в селе, как говорится, хоть шаром покати, — ни одного деревца. Или мужикам запрещено сажать деревья, или Бог их знает. Может быть, и сами не хотят, а помещику и невдогад их заставить, благо у самого под рукою англинский парк со всеми причудами. А дети, когда выбегут на улицу посмотреть на проезжающего, так это только слава, что дети: медвежата, просто медвежата.

Посередине села церковь с высоким шпилем колокольни, довольно затейливой архитектуры и мало свидетельствующая о вкусе зодчего, а может быть, и самого ктитора. Около церкви была когда-то ограда, о чем свидетельствуют полуразрушенные каменные столбики, не в дальнем

один от другого расстояний и кругом запачканные грязью, надо думать, свиньями во время почесыванья.

И церковь, и село, и полунагие закопченные дети — словом, все являет из себя вид весьма живописный. Совершенно во вкусе *Ван-Остада* наших подающих надежды *table-augent'*истов.

Проехавши село, в левую сторону, недалеко от почтовой дороги, на горе видны барские хоромы с бельведером, окруженные темным лесом, а лес обведен, по крайней мере со стороны почтовой дороги, глубоким и широким рвом с живою на валу изгородью.

Сквозь деревья мелькает светлый пруд, или из-за группы лип мелькнет угол китайской беседки, или куст акаций, или другое что-нибудь, вроде Клеопатриной иглы, воздвигнутое на память дружбы и любви. Словом, прелесть. Так бы вот и соскочил с телеги, перепрыгнул бы через живую изгородь, да и пошел писать по всем направлениям роскошного барского сада.

Я, правду сказать, так и сделал. Но это было давно. Теперь уж я подобной штуки не выкину. Я тогда прошел из конца в конец весь парк, и меня, как теперь помню, поразила страшная тишина. Я видел великолепный дом, павильоны, беседки, качающуюся раскрашенную лодочку на краю пруда, под наклонившимися деревьями, и посередине пруда гордо плавающих пару лебедей. Но не видел ни одного человека, который бы оживлял эту изысканную картину. На меня неприятно подействовало такое отсутствие человека. Это все равно, [что] прекрасный пейзаж, не оживленный человеческой фигурой, Я даже раскаивался, что входил в этот заколдованный парк.

О, если б я знал тогда, что когда-то придется мне писать историю обитателей этого роскошного уединения! Я бы тогда не ограничился одним поверхностным взглядом, а постарался бы проникнуть и в хоромы, и всюду, куда только можно проникнуть, всюду бы заглянул, и, может быть, тогда моя история была бы и полнее, и круглее. Но прошлого не воротись. Ограничимся тем, что теперь имеем.

Проехавши версты две, я спросил тогда у ямщика: «Чье это село мы проехали?»

— Господское.

— Знаю, что господское! Да господина-то как звать?

— Помещик Хлюпин.

— Что, он сам, видно, мало живет в своем селе?

— Только за оброком приезжает. И то не каждый год.

Этим сведения мои тогда и кончились.

После этого спустя десятка три лет встретился я в Орской крепости с несчастным однофамильцем названного мне ямщиком помещика, и после двух-трех вопросов я узнал от молодого человека, что он единственный его родной сын и наследник знакомого мне села и парка.

Дело было вот как. Ротмистр Хлюпин, отец этого несчастного юноши, не расположен был вовсе жениться, но обстоятельства заставили, и он женился на богатой и немолодой вдове, взявши за нею в приданое описанное мною село.

Вдова, родивши ему сына, а потом дочь, поживши мало после этого происшествия, переселилась к праотцам, завещавши имение детям. А отца над ними как бы опекуном оставила. Старуха, как видно, не хотела, чтобы он снова женился, да еще, пожалуй, и на молодой. Но ротмистр, как он вообще не имел расположения к семейной жизни, и, взявши птенцов своих, сироток, с причтом нянек и мамок, отправился в Питер. Долго ли, коротко ли он вел там холостую жизнь, не знаю. Только, как он ни близорук был в отношении детей, увидал, однако ж, что детям нужна мать, т. е. необходимо жениться.

С такою-то благою мыслию однажды он вышел со двора. Идет он по Литейной, выходит на Невский, глядь, навстречу ему, словно заря алая, словно лебедь белая, так и выплывает по тротуару. Замерло ретивое у старого гусара. И во сне ему не снилася никогда такая красавица, какую он теперь увидел.

«Что ж, — думает гусар и отец семейства, — попытка не шутка, спрос не беда — попробуем! Ливреи же за нею не видно, помешать некому».

И он поплелся вслед за красавицею. Долго она его водила по разным переулкам, наконец, завела его чуть не к Таврическому саду, да в один самый мизерненький домик с двумя крошечными окошечками и шусть перед самым его носом, а он и остался на улице, да еще и на грязной.

Простоявши с добрый час против домика и махнувши рукой, пошел обратно.

Тут бы, казалось, и всему происшествию конец. Вот то-то и нет, тут только, можно сказать, начало самой истории или, лучше сказать, начало самого зла.

Подвернись эта история другому военному, а не в отставке гусару, разом бы все покончил, да и концы в воду. Ротмистр мой, хоть тоже слыл решительным малым, однако кончил тем, что после многократных и бесплодных хождений на Пески решился, наконец, послать сваху в заветный домик. Сказано — сделано. И счастливейший ротмистр с красавицей супругою катит в свое поместье. А дети с няньками и мамками и со всякой рухлядью вслед за ними.

Здесь, я думаю, не мешает рассказать хоть вкратце, кто такая вторая супруга решительного ротмистра. А вот кто она такая.

Отец ее служил прапорщиком в каком-то пехотном полку, расположенном на Волыни, да и влюбился в какую-то хорошенькую панянку. Дело могло бы тем и кончиться, да случился грех, его заставили жениться; он не прекословил, женился и выступил за ротою в поход. Войска в то время начали стягиваться к Вознесенску. На последней дневке перед Вознесенском молодая жена прапорщика разрешилась от бремени дочерью — Мариюю.

Три или четыре года бедная прапорщица с ребенком шлялася за своим прапорщиком или, лучше сказать, за ротою, пока, наконец, от недостатка, горя и всяческих лишений не впала в чахотку и вскоре умерла.

Безумная и трижды безумная девушка, решающаяся влюбляться и выходить замуж за армейского, не только за прапорщика, за поручика даже, если только он не ротный командир. За ротного командира и то много нужно решимости, чтобы идти замуж. Тут должна быть истинная, настоящая любовь. По-моему, это такая великая со стороны женщины жертва, что мало-мальски порядочный мужчина не должен бы ее не только помогать, но даже и желать.

Похоронивши свою мученицу-жену и сдавши денщику дитя на руки, прапорщик пустился на обывательских роту догонять. По службе ему как-то не везло, у начальства он был не на

выгодном счету: товарищи его давно уже подпоручиками и поручиками, а он все еще прапор. Что бы такое значило, Бог его знает. По службе он молодец, лишнюю рюмку не пьет. Разве только что рановато маненько женился? Да кому какое дело! Вот он думал, думал, да и начал испивать маненькую, потом большенькую, и еще, и еще большенькую, и кончилось тем, что ему, горемыке, предложили в отставку. Он попросился в перевод в какой-нибудь линейный батальон. Его и перевели в 23 пехотную дивизию, расположенную, как известно, в Оренбургском крае.

Пока то да се, глядь, а дочке уже пошел десятый годочек, а она, бедная, и грамоты не знает. Да и где узнаете ее? Отцу некогда, денщик безграмотный, а деревенские мальчишки выучили ее в бабки играть.

Он, бедняк, думал: приедет в Оренбургский край, поселится где-нибудь в одном месте и займется воспитанием дочери. Не тут-то было. Не успел он осмотреться на новом месте, как его командировали в одно из степных укреплений. Беда, да и только.

Делать нечего, пошел он и в степное укрепление.

Кто не видал этих степных укреплений, тому советую прилежно молиться Богу, чтобы и не видать их никогда. Кроме отчуждения ото всего, что хоть маленький имеет намек на образование, — теснота и лишения всевозможные, а о нравах и говорить нечего.

Так вот в такое-то гнездо попал мой бедный прапорщик с своею уже двенадцатилетнею дочерью. На другой же день она прослыла в укреплении кантонистом в юпке.

Она, действительно, была девочка красивая, умная и бойкая, хоть и мальчику ее лет, так впору. На горе, он привез с собою еще в виде няньки какую-то старушонку, безобразную и донельзя распутную. Так что когда они, бывало, подгуляют вдвоем с нянькою, то Маша убежит в женатые казармы да там и ночует. Бедное дитя! Ее какой-то солдат и грамоте выучил.

Так прошло два года, роты сменились. Маша выросла и удивительно похорошела, и больше ничего. И то правда, главное есть, а об остальном — кому какое дело?

Возвратясь к своему батальону, отец хотел было приняться за свою Машу. Да Маша уже не та — ей уже пятнадцатый год.

— Ну, что ж, — рассуждает невзыскательный отец, — за писаря и так сойдет.

А пока он так рассуждал, Маша росла, росла и выросла красавица на диво: не только что за писаря, хоть и за генерала, так не стыдно.

Какой-то чиновник, не помню, по питейной, не то по таможенной части, только не военный, — об этом тогда еще и в городе говорили, — так какой-то гражданский чиновник, да чуть ли не из пограничной комиссии, приехал в город по делам службы, увидел где-то Машу и влюбился. Узнал, что и как, и чья, и где живет, да, не рассуждая много, сунул пьяной няньке пять цалковых, она ему и спроворила.

Он уехал по делам службы в Петербург и Машу взял с собою, а там ее и бросил, потому что ему нужно было опять куда-то ехать.

Такими-то путями она очутилася в Петербурге. А как очутилася на Песках, тут уже история другая.

Но эту другую историю я готов хоть и не рассказывать, потому что в ней, кроме отвратительного, ничего нет. Как бы там ни было, а Маша, хоть и едва грамотная, а выдержала свою роль лучше всякого синего чулка.

Так вот кто такая вторая супруга моего удалого ротмистра.

Теперь мы ее уже будем звать Марьей Федоровной.

На другой же или на третий день после свадьбы Марья Федоровна настояла на том, чтобы сейчас же ехать в деревню, и она на это имела основательные причины: в деревне кто ее узнает, какого она поля ягода, а живя в городе, да еще и в столице, придется поддерживать мужнины знакомства. Они у него, быть может, все графы да князья. Бог его знает. Он человек богатый, все случиться может, а она, как говорится, и ногой ступить не умеет. Хорошо еще, что солдат грамоте выучил, а не то и того бы не знала.

Так или почти так рассуждала Марья Федоровна, и рассуждала, правду сказать, довольно верно; по всему видно, что она имела [ум] практический или положительный. Не прошло и месяца, как она вступила в роль провинциальной барыни-хозяйки, как у нее все задвигалось и заходило.

Ротмистр мой только смотрит да глазами похлопывает. А как она приняла у себя с визитом мелкопоместных соседок, так только ахнули. Но кто прежде всех в доме на себе почувствовал ее влияние, так это сам ротмистр. Он до того сузился перед нею, что стал больше походить на лакея, нежели на барина.

На детей она сначала не обращала никакого внимания, пока не почувствовала себя беременною. А с той поры и они поступили в ее ведомство, и они, бедные, стали чувствовать какую-то тяжесть. Девочка еще кое-как резвилась, а мальчик, бедный, тот совсем затих. Он, как говорили, весь в отца пошел. И отец тоже хорохорился до первой острастки, а как на него прикрикнули хорошенько, так он — тише воды, ниже травы.

Во избежание же следующих острасток, которые он во множестве предвидел впереди, переселился он во флигель неподалеку от дому и зажил настоящим анахоретом. Сначала приходил он в дом пообедать, поужинать или просто спросить о здоровье дражайшей половины, но впоследствии совсем оставил свои визиты; даже у человека, который приносил ему обед, он не спрашивал о здоровье Марьи Федоровны. Детей своих он видел только по праздникам, и то с позволения жены. Впрочем, сильного стеснения в быту своем он не чувствовал или, лучше сказать, не мог чувствовать. Большую часть дня он проводил или на псарне, или на конюшне. Или же упражнялся в благородном занятии стрельбей из пистолета в цель, которую устроил у себя в кабинете на случай дурной погоды. Надо заметить, что в этой комнате, кроме стула и цели, ничего не было, даже трубок и книжки, развернутой на 14 странице. И я не знаю, почему он называл ее кабинетом!

После первых припадков беременности, как я уже сказал, она начала обращать внимание на мужнинных детей. Внимание это выразилось так. Она каждый день исправно начала посещать детскую, что прежде делала в продолжение месяца один раз. Потом начала учащать свои визиты, потом приходила смотреть, как кормят и чем кормят детей, как спать кладут, как поутру их умывают, как одевают. Большого попечения родная мать своим детям оказывать не может. А странно: дети ее не любили и даже боялись; бывало, если только заплачет которое из них, то няньке стоит только сказать: «Мама идет», — и дитя в одно мгновение переставало плакать. Ту же тактику употребляли няньки, когда дети слишком разрезвятся, хотя это случалось весьма редко. Они смотрели настоящими сиротками, особенно мальчик. И девочка,

сначала такая резвая, румяная, заметно побледнела и присмирела с той поры, как за нею начали так заботливо ухаживать.

Есть люди, которых все любит и все к ним ласкается: даже, говорят, их и бешеные собаки не кусают. К числу таких людей принадлежал и знаменитый Вальтер Скотт.

А есть опять люди, которые ко всем ласкаются, а их все или ненавидят, или боятся и ненавидят. К числу таких людей принадлежит и моя Марья Федоровна.

А может быть и независимо от этой антипатии еще что-нибудь такое, почему мачеха детям кажется ненавистною.

Что бы там ни было, только дети под непосредственным блюдением Марьи Федоровны бледнели и худели. А когда она встречалась с своим благоверным ротмистром, то только и речей было, что про детей. Так что он уже начал ее просить, чтобы она поберегла себя, что дети, даст Бог, и без нее вырастут.

Лето проходило, близилась осень. Дети давно уже ходили, а летом их не выпускали в сад побегать, бояся простуды: пруд, дискать, близко, сыро. Настала осень, и детей стали посылать в сад гулять, потому что теперь воздух холоден и пруд не может иметь влияния никакого, по физике Марьи Федоровны. А по физике ротмистра — совершенно все равно. Лишь бы его борзые не хворали, потому что скоро начнется травля зайцев. А до детей ему какое дело, на то у них есть мать.

А между тем в селе показалась оспа. Нежному родителю и в голову никогда не приходило, что дети его из такой же плоти и крови, как и чужие дети, и что их так же само может постигнуть эта язва, как и чужих, кому не привита оспа, детей. В Петербурге об этом не подумали, а в деревне и вовсе позабыли, и вот дети в оспе.

Марья Федоровна с горя сама даже слегла в постель и велела заколотить все окна и двери и окуривать покои уксусом; у ней у самой заботливый родитель позабыл привить оспу, а сама она, бедная, теперь только вспомнила. Вспомнила и захворала, а к тому еще и на износе.

Дом был окружен, как зачумленный, куревом; детей перенесли к отцу во флигель. Бедный ротмистр чуть с ума не сошел. Наконец все кончилось благополучно. Только мальчик ослеп, потому что у него и прежде глаза краснели и гноились. А девочка ничего, выходилась, хоть и попорченою немного. «Но это ничего, — говорила нянька шепотом, — зарастет. Слава Богу, что сама барыня захворали, а то и она бы осталась без очей, как вот барчонок».

А между тем роды близились. В доме все ходило на цыпочках, разумеется, кроме акушерки-профессорши, уже месяца три распорядившейся, как в своем собственном доме. Все молчало и трепетало. А благоверный ротмистр, в ожидании, лягавого щенка дрессировал. Наконец все кончилось благополучно, Марья Федоровна разрешилася сыном, который и был во святом крещении наречен Ипполитом.

Обряд крещения был совершен отцом протоиереем, нарочно для этого случаю привезенным из города. Воспринимали младенца, кроме дворянского предводителя и других, поважнее, помещиков и помещиц, даже и командир стрелкового батальона, в то время квартировавшего в их городе. Глядя на фалангу восприемников и восприемниц, можно было подумать, что ротмистр для такой радости готов с целым светом породниться или, по крайней мере, со всем уездом.

Пир по этому случаю был задан на славу. Была мысль у ротмистра устроить и сельский

праздник для мужичков, но так как это случилось зимою, то хороводы и отложены до будущего лета.

А вместо сельского праздника он предложил своим гостям, кому угодно, облаву на медведя. Желаящие вказались все, не исключая и баталионного командира.

После родов Марья Федоровна страдала ровно шесть недель. Не подумайте только, чтобы она физически страдала, ничего не бывало, она на третий день после родов готова была на какой угодно гимнастический подвиг. Она страдала нравственно, и именно потому, что была в доме особа, которая распорядилась совершенно всем и даже ею самою. Это была акушерка. А для Марьи Федоровны пытки не было хуже, как повиноваться кому бы то ни было.

Наконец эти мучительные шесть недель кончились. С крестом и с молитвою акушерку выпроводили и двери заперли. Марья Федоровна вздохнула свободно и, принявши бразды правления, велела позвать к себе мужа.

Прошло полчаса — супруг не является. Марья Федоровна бесится и посылает сказать, что она его ждет. Посланный возвратился и сказал, что они только что побрились и изволят одеваться.

Надо вам заметить, что ротмистр считал себя птицей высочайшего полета и для него этикет, даже в отношении жены, была чуть ли не первая заповедь. У себя дома он бирюк бирюком, готов даже с собаками и поест из одного корыта. Но что касается вне дома, тут он совершенная метаморфоза, как выражается один мой приятель. А дом жены своей или квартиру — ротмистр боялся только проговорить самому себе, а в душе совершенно сознавал, что квартира жены для него чужая.

— Насилу-то выбрились! — так встретила Марья Федоровна своего ротмистра.

— Нельзя же, друг мой, приличие!

— А вот что, друг мой! Тут не приличие, а вот что: каковы ваши дети?

— Слава Богу, ничего!

— Каково Коле?

— Ничего. Ослеп. Совершенно ослеп.

— То-то, ослеп. Я вам говорила, что нужно будет оспу привить. Не послушали. — Соврала: никогда не говорила.

— Не помню, когда вы мне говорили. Или я забыл.

— Забыли, сударь. Ну, да не в том дело. А вот что: у вас там помещение хорошее для них?

— Не совсем, друг мой! Тесновато.

— Не будет тесновато. Пускай они остаются с тобою. А бывшую их детскую я велю переделать для нашего сына. Понимаете?

— Понимаю, понимаю, мой друг!

После продолжительного безмолвия:

— Да вот еще что я хотела сказать. Няnek я беру к себе. А для них, как они уже взрослые, то можно будет взять двух девок из деревни.

Муж охотно согласился. Ему эти няньки не нравились, особенно младшая: дотронуться нельзя, кричит, как будто ее укусили, да еще грозит барыней. «А этих я заставлю плясать по своей дудке втихомолку», — так рассуждал ротмистр, подходя к колыбели спящего шестинедельного своего сына.

— Не правда ли, какое милое создание! — говорила Марья Федоровна, приподымая занавеску.

— Прекрасное! Позволь поцеловать его, друг мой!

— Нельзя, разбудишь. — И она опустила занавеску. — Ступай теперь домой и пошли ко мне приказчика, я велю привести ко мне всех девок из села и выберу няnek.

— Зачем тебе беспокоиться, друг мой, я сам выберу.

— Хорошо, хорошо, ступайте. Я знаю, что делаю. И супруги расстались.

Отцу сильно не нравилось постоянное пребывание детей в его уголке (так называл он свой флигель): все-таки хлопоты. А с другой стороны, так и нравилось. Т. е. нравились будущие няньки. «Ведь она не пришлет же мне каких-нибудь квазимодов в сарафанах». Так он полагал, и ошибся.

На другой день ввели к нему во флигель таких двух красавиц, что он только ахнул.

— Ну, одолжила! — проговорил он, с ужасом глядя на неумытых новобранок.

— Зачем вы пришли? — спросил он их.

— Нянчить, — отвечали они в один голос.

— Хороши, нечего сказать.

— Какие есть, барин.

— Ну, хорошо, ступайте домой.

Девки только повернулись к дверям, как дверь растворилась и в комнату вошла сама Марья Федоровна. Ротмистр спрятался в другую комнату, потому что он был в утреннем пальто.

— Полно дурачиться, — говорила входя Марья Федоровна, — я не для комплиментов пришла. Наденьте что-нибудь да выйдите скорее ко мне.

Ротмистр явился в форменном сиртуке и ловко раскланялся, спрашивая о здоровье и самой Марьи Федоровны, и новорожденного.

— Ничего, слава Богу, здоровы. А ваши каковы?

— Ничего, слава Богу.

— Покажите-ка мне их! А вот — прошу любить и жаловать, — говорила она, показывая на няnek.

— Друг мой, да откуда ты выкопала этих уродов?

— Ничего. Достоинство няньки не в красоте, а в кротости. Пойдемте.

Пройдя сени, они вошли в большую комнату, наполненную щенками всех пород и возрастов. Когда Марья Федоровна зажала нос платком, ротмистр проговорил:

— Ничего, друг мой. Я привык, это моя страсть.

За комнату со щенками прошли они что-то вроде чулана. Это была комната нянек. А за чуланом уже растворилась детская, немногим больше чулана, об одном окне комната. Полуодетые дети и няньки с ними играли в жмурки. То есть они прятались, а слепой Коля их искал. Когда вошла в комнату Марья Федоровна, няньки остолбенели. А маленькая Лиза схватила слепого брата за руку, шепнула ему: «Мама!». Коля задрожал и стал прятаться за сестру, а сестра, в свою очередь, за брата.

Марья Федоровна быстро оглянула комнату и едва заметно улыбнулась. Потом, обратясь к детям, проговорила:

— Не бойтесь меня, мои крошечки, я вам гостинца принесла. — И она им вынула по леденцу из ридикуля. Подавая Коле леденец, она хотела заплакать и, улыбнувшись, сказала:

— Бедное создание. Что вы с ним намерены делать? — спросила она мужа.

— Ничего, — ответил тот равнодушно.

После этого она обратилась к нянькам и сказала:

— А вы, дуры! Только знаете детей баловать. Убирайтесь вон отсюда. А вы, мои милые, оставайтесь здесь вместо их, — сказала она, обращаясь к новобранкам.

— Слышим, барыня, — отвечали те. И начали снимать свои зипуны.

— Мне пора. Я думаю, мой генерал уже проснулся. Прощайте, мои крошечки, — сказала Марья Федоровна, обращаясь к детям. — Пойдемте, — сказала она нянькам и, закрывши нос, вышла из детской.

Ротмистр молча вышел вслед за нею, но в большой комнате, окруженный разномастными и разнородными щенятами, остановился в раздумьи и вдруг, как бы осененный мыслию свыше, хлопнул себя ладонью по узенькому лбу [и] воскликнул:

— Нет, друг мой, этому не бывать! Я в твои дела не мешаюсь, так не мешайся же ты и в мои. — И с этим словом он вышел из комнаты, не обращая ни малейшего внимания на визг щенят.

До самого почти обеда ходил он по кабинету, заложа руки за спину или останавливаясь перед мишенью, и складывал руки на груди à la Napoléon и даже позицию принимал Наполеона. И в этом положении он был невыразимо смешон. Центр мишени, казалось, поглощал всего его, — так он пристально вперял в него свои серенькие бессмысленные глазки.

Несколько раз брался он за пистолет, отходил от мишени к стулу, становился в позицию. Прицеливался и опускал пистолет без выстрела.

— Нет, не могу! — Проговоривши это самым отчаянным голосом, долго тер себе ладонью лоб, потом опускал руки в карманы и принимался ходить взад и вперед.

Наконец, спросил он себе побриться. Потом умылся розовой водой и оделся самым изысканным манером. Остановился перед трюмо, при[нял] важную позу и грозную физиономию, посмотрелся несколько минут, взял шляпу и пошел к жене, как он думал, объяснить по поводу семейных неудовольствий (под этим словом он разумел безобразных нянек).

Марья Федоровна предвидела это критическое посещение и приготовилась. Она надела темно-синее бархатное платье, в котором ротмистр так любил ее видеть и, взявши малютку на руки, встретила его в гостиной.

Грозный Юпитер исчез, а перед нею стоял самый обыкновенный ротмистр и сладко улыбался.

— Говори, душенька: «Bonjour, rара», — говорила она, целуя ребенка и поднося его мужу. — Теперь и ты, друг мой, можешь его поцеловать.

Ротмистр безмолвно приложился.

— А знаешь ли, друг мой, какой я сон сегодня видела? Что будто бы твой Коля и наш Ипполит уже взрослые и оба гусары. И какие молодцы! Просто прелесть, особенно Ипполит; две капли воды на тебя похож. А ведь и в самом деле, — прибавила она, лукаво улыбаясь, — если всмотреться в него хорошенько, он, действительно, будет на тебя похож. Милочка! — И восторженно она поцеловала ребенка.

После этого все, что тлело в маленьком сердце ротмистра, совершенно погасло. Даже няньки представлялись ему благообразнее, нежели как они на самом деле были.

— Надеюсь, ты сегодня у меня обедаешь? — сказала Марья Федоровна, уходя с ребенком в детскую.

— С удовольствием, мой друг! — проговорил ротмистр. Но друг его уже был в третьей комнате и ничего не слышал.

Ротмистр был совершенно счастлив и, развалясь в широких мягких креслах самым великосветским манером, совершенно беспечно насвистывал из «Фрейшица» песню: «Ах, что было без вина!» И бил такт лайковой палевой перчаткой по колену.

Марья Федоровна вышла к обеду уже в другом платье, не менее прежнего великолепном. Это окончательно уничтожило бедного ротмистра, потому что это было совершенно в тоне высшего общества, которого ротмистр считал себя (Аллах ведает почему) не последним членом.

После обеда они расстались, как расстанутся самые нежные супруги в первый день после свадьбы, в заключение даже поцеловались, а такого происшествия бедный ротмистр и не запомнит.

Придя домой, он, не раздеваясь, перецеловал всех щенят в восторге, а о детях даже и не подумал. Раздевшись, погрузился он в мягкую перину и, полежавши немного, тяжело вздохнул. А о чем он тяжело вздохнул, Бог его ведает.

Убаюкавши таким образом на первый раз своего мужичка-дурачка, Марья Федоровна продолжала такую же тактику до тех пор, пока он не освоился совершенно с безобразными няньками. Она тогда повела с ним другую политику. Она посылала его с визитами к соседям, чтобы, говорит, не одичать и с добрыми людьми не раззнакомиться. — И я бы поехала с тобой, но, ты видишь, у меня ребенок на руках, его нельзя же бросить.

— Правда, мой друг, — говорил он. — Ты оставайся с ним, он, видишь, какой милый крошка. Я за тебя перед нашими добрыми соседками извинюсь.

— Только вот что! — говорила она, когда он собирался кому визит делать. — Ты, пожалуйста, никого не приглашай к себе, пока я кормлю. (Она сама кормила своего сына.)

— Никого, друг мой, — говорил он, садясь в коляску. И, выехавши из дому раз, он не возвращался в него по месяцу, а иногда и по два. А где он пропадал, об этом знали только его верные слуги — кучер и лакей. Они, может быть, барыне и рассказали [бы] некоторые любопытные похождения своего шаловливого барина, как, например, в губернском городе, в некоторых трактирах; да барыня их об этом не спрашивала. Ей какое дело до любопытных пождений своего пустоголового мужа? Она подвигается к своей цели верно, она и довольна.

А цель ее была такая... Но нет, зачем прежде времени развязывать торбу? Может быть, там, Боже сохрани, такое спрятано, что совестно и подумать, а не то что прежде времени показывать да рассказывать. А лучше уже, коли начали читать, мои терпеливые читатели, то читайте до конца, а тогда и сами узнаете, какого сорта сатана сидел в прекрасной голове Марьи Федоровны.

Одна из безобразных няnek, та, которая неуклюжее и безобразнее, оказалась доброю и скромною женщиною, и Марья Федоровна, заметя это, наказала ей строго смотреть только за Лизанькою. А к Коле и не подходить.

А той, которая была грубее, злее и прожорливее, наказала строго смотреть за слепым Колей и не давать ему шалить, а главное, объедаться. Бедный! несчастный мальчик! он давно бы умер с голоду, если б сестра и ее нянька не оставляли для него от своего обеда и не кормили его тихонько по ночам, когда его прожорливая нянька спала.

Ротмистру так понравились визиты, что он в дом к себе и не заглядывал. Когда случится поблизи где-нибудь, то пришлет записку, попросит денег, белья или чего там понадобится. Разумеется, ему все это отпускалось беспрекословно.

Так прошло несколько лет, т. е. года три или четыре. Все шло своим чередом, т. е. шло так, как угодно было Марье Федоровне.

Однажды — это было осенью, не помню, в котором месяце — барская коляска подъехала к дому, и ротмистра из нее не высадили, как это обыкновенно делается, а вынесли на руках, как это делается только в критических случаях. Марья Федоровна, увидя это, злобно улыбнулась. Она подумала, что он пьяный. Потому что только этой еще ему добродетели и не доставало, а теперь и этой украшен. Оказалось, однако ж, то, чего Марья Федоровна и не подозревала.

Дело в том, что у одного богатого соседа по случаю какого-то семейного праздника съехались гости, в том числе и наш ротмистр заехал. После разных увеселений собралась порядочная кавалькада охотников и выехала в поле русаков попугать. Разумеется, ротмистр тут был из первых. Он даже хотел было за своими борзыми послать, но ему заметили, что это невежливо, и он пустился с чужими. Случилось так, что он первый поднял зайца, и, разумеется, он же и доконать его должен. Вот он и пустился во весь опор вслед за борзыми. Только, на его несчастье, случилась канава в поле; борзые-то ее перепрыгнули, а лошадь со всадником прямо в канаву, да собой его и накрыла. К тому же еще в канаве была вода, уже тонким льдом покрытая. Он, бедняк, кроме того, что ушибся, да еще и в холодной воде окунулся, так что когда его вытащили оттуда, то он уже едва дышал, таким его и домой привезли.

Так вот какая случилась история.

Сейчас же послали в город за медиком, а на другой день и за попом. А на третий день, перед вечером, благословив своих несчастных детей и поручив их блюдению и заступничеству Марьи Федоровны, послал [он] свою гусарскую душу на лоно Авраамле.

Как ни кратковременна была его болезнь, однако ж Марья Федоровна успела сделать все форменно, что нужно было для обеспечения своей будущности и своего сына, т. е. он третий наследник общего имения, а она и опекунша, и полная хозяйка во всем.

Марья Федоровна похоронила своего обожаемого супруга в тени березовой рощи, близ прозрачного пруда, и при похоронах выказала необыкновенные свои сценические способности. Она так сыграла роль неутешной вдовы, что самые равнодушные соседи, глядя на нее, рыдали, а бедных сироток, особенно Колю, чуть в слезах не утопила, а поцелуям и числа не было. И если б сострадательные соседи не удержали ее, она бы непременно бросилась в могилу. Но, спасибо, не допустили, а взяли ее на руки и почти мертвую внесли в дом и уже в доме насилу привели ее в чувство нашатырным спиртом (одеколон не помогал).

Когда же пришла она в себя, и увидела себя одну в своей спальне, и услышала отдаленные голоса поминающих соседей, она едва заметно улыбнулась и сама с собой шепотом проговорила:

— Главное само собою устроилось. А их я сама пристрою.

И, вставши с постели, она тихонько пошла в детскую к своему милому Ипполиту.

Около вечера гости навеселе разъехались по своим захолустьям, совершенно уверенные, что Марья Федоровна самая несчастная женщина во всем мире.

А Марья Федоровна, чтобы уверить их еще больше в своем ничем не тешимом горе, на другой день велела согнать со всего села баб и девок: «А мужиков не трогать, — сказала она, — они пусть делают свое дело», — согнать на господский двор с лопатами и мешками.

Когда собрались девки и бабы с помянутыми орудиями, она, вся в черном и в слезах, повела их на могилу своего незабвенного ротмистра и повелела (подобно Ольге над Игорем) сыпать курган.

Работа началась. И в продолжение двух или трех недель черный курган высился над прахом незабвенного ротмистра.

Марья Федоровна сама лично распоряжалась работами и при работах рекою разливалась, как говорили простосердечные работницы. Но искреннее и чистосердечнее никто так не плакал и не проклинал и покойника, и Марью Федоровну, как сами работницы. И правду сказать, они на это имели полное право.

Морозы уже доходили до 10 градусов, а они, бедные, выходили на работу, как говорится, в чем Бог послал. И на все это чувствительная, неутешная Марья Федоровна смотрела совершенно равнодушно. Смело можно сказать, что этот памятник любви и воспоминаний был полит кровью и самыми непритворными слезами.

Многие — что я говорю, многие — никто не поверит, что я рассказываю истину, кроме тех, которые были зрителями, такими же, как и я, этой курьезной трагикомедии.

В скором времени разнесся не по всему уезду, а по всей губернии слух, что Марья Федоровна такая-то не показывается даже своим людям и выходит из дому по ночам на могилу своего

мужа и там плачет от вечерней до утренней зари.

За достоверность этих слухов и я ручаюсь.

Она, действительно, ходила по ночам, несмотря ни на какую погоду, ходила на курган и там, не скажу плакала, а во всеуслышание выла.

Так она ходила выть на могилу до тех пор, пока сердобольные соседки, утешая, не сказали ей, что Лизе и Коле уже по осьмому пошло.

Тут-то она как будто опомнилась. «Проклятые приятельницы, — подумала она, — будто я не знаю, что делаю». Делать нечего, нужно было переменить роль и из нежной супруги сделаться нежной матерью.

Не медля нимало, она разослала просить к себе на прощальный праздник мелкопоместных и крупноречивых своих соседок, — что она-де, Марья Федоровна, везет барышню в Смольный монастырь и желает проститься с своими добрыми соседками. А что сама она потому-де их не может посетить, что с детьми постоянно занята.

Слетелися соседки. Погостили, позлословили денька два и разлетелися по уезду благовестить о беспримерных добродетелях Марьи Федоровны и о истинно ангельской прелести и скромности Лизы.

А Лиза была просто деревенская осмилетняя девочка. И вдобавок загнанная.

Марья Федоровна была в восторге от своей выдумки и на другой неделе после прощального пира, в одно прекрасное утро, велела заложить [в] крытую бричку, в которой покойник по ярманкам ездил, когда был еще ремонтером, тройку лошадей, взяла с собою своего Ипполита, уже четырехлетнего мальчугана, и безмолвную Лизу, и больше никого — ни слуги, ни служанки — совершенно налегке отправилась в Петербург определить Лизу в Смольный, а коли удастся, то и в Екатерининский институт.

Приехавши в Петербург, она остановилась на любимых своих Песках, у задушевной своей приятельницы Юльи Карловны Шошер, «ведки из Випорх». Эта Юлия Карловна Шошер была вдова 14 класса и имела свой собственный домик с мезонином на Песках. Кроме доходов с домика, она получала еще за свои профессии порядочный доход. А профессии ее были разные. Она и поношенным дамским платьем торговала, и лотерейные билеты разносила, и детей принимала, и сватала, и просто... да мало ли какие есть на свете профессии, всех не перечтешь.

На счастье Марьи Федоровны, мезонин был пустой, — она и расположилась в нем.

В нижнем же этаже, в четыре окна и дверью на улицу, помещалось что-то вроде модного магазина. Хотя и трудно предполагать подобное явление на Песках, но я сужу по тому — что это был действительно модный магазин, а не что-нибудь другое — по тому, что на одном окне постоянно на болванчике шляпка торчала, а в прочих окнах тоже постоянно красовались молодые румяные девицы с какой-нибудь работою в руках.

Марье Федоровне сама судьба помогает. Она только думала о подобном заведении, а заведение само очутилось под носом.

Она позвала к себе Юлию Карловну.

— Юлия Карловна! — спросила она. — А кто это у вас в доме содержит модный магазин?

— Моя землячка, тоже из Випорх и тоже чиновница, Каролина Карловна Шпек.

— Я привезла с собою крепостную девушку, чтобы отдать в модный магазин, так чем далеко ходить, поговорите с нею, не может ли она взять у меня эту девушку. Только мне бы не хотелось платить за нее, а не может ли она взять на число лет, т. е. с заслугой.

— Может, очень может. Прекрасная, преблагогородная дама. Я сейчас пойду к ней.

И Юлия Карловна, сходя вниз по узенькой лестнице, коварно улыбалась, быть может, рассчитывая на будущий барыш, потому что они вдвоем с Каролиной Карловной содержали двусмысленный модный магазин.

На другой же день был контракт заключен. Лиза, вместо Смольного монастыря, отдавалась в виде крепостной девки Акулины на десять лет в руки корыстолюбивой старой отвратительной чухонки.

Когда Лизу взяла к себе Каролина Карловна и назвала ее в первый раз Акулькой, бедная девочка заплакала и сказала, что она не Акулька, а Лиза. Ее выпороли, и бедная Лиза согласилась, что она действительно Акулька, а не Лиза.

Пристроивши таким образом Лизу, Марья Федоровна заказала для своего милого Ипполита несколько пар детского платья разного покроя и на разные возрасты до четырнадцати лет.

Когда платье было готово, она, чтобы не прожиться даром в столице, собралась и уехала, поцеловав, благословила бедную Лизу на безотрадную сиротскую и мученическую жизнь.

Соседки удивились, когда весть пронеслась, что Марья Федоровна возвратилась из Петербурга, и, разумеется, взапуски полетели поздравлять Марью Федоровну с благополучным успехом. И когда стали они удивляться, что так скоро все случилось, то она понесла им такие турусы на колесах, что те слушали да только ахали. Между прочим, что сам Лонгинов, как только она подала прошение, приехал к ней на квартиру и, взявши с собою Лизу, сам повез ее прямо в Екатерининский институт.

Простодушные соседки, принявши все это за чистую монету, разъехались по уезду и усердно с прибавлениями передавали всем и каждому то, что наговорила им досужая Марья Федоровна.

А Марья Федоровна, отдохнувши после дороги, занялась хозяйством, т. е. поверила приказчика, ключницу и прочие должностные лица, вошла в мельчайшие экономические подробности, как самая опытная хозяйка.

Нужно заметить, что при жизни мужа она была расчетлива и бережлива, а со смертью его она сделалась настоящая скареда, под тем предлогом, что все это не ее, что она только опекунка бедных сирот и что за каждую утраченную кроху она должна перед Богом отвечать.

Часы же досуга она посвящала на одеванье и раздеванье в привезенные из Петербурга наряды своего ненаглядного Ипполита.

Когда Лизу увезли в Петербург, тогда слепой Коля совершенно осиротел. И положение его сделалось еще хуже. Тогда, бывало, или сестра, или ее нянька ему, бедному, хоть что-нибудь оставят съесть. А теперь приносят ему оглодки из дому, да и те прожорливая нянька истребляет. А сама запрет его в комнате, да и уйдет на целый день в село на посиделки.

Хорошо еще, если щенка бросит ему в комнату, все-таки лучше: по крайней мере он слышит живое что-то около себя.

В короткое время он, бедный, так исхудал и пожелтел, что даже Марья Федоровна испугалась, когда его однажды случайно увидела. Но она только испугалась, а положения его все-таки не улучшила. Правда, прислала ему новый демикотонный сертучок, навыворот сшитый, и такие же брючки.

В этой-то великолепной обнове нянька повела его в село показать своим родственникам. Родственники, должно быть, были люди мягкосердые и зажиточные, — накормили его кашей с молоком и на дорогу дали ему вотрушку, которая не достигла своего назначения, будучи вырвана из рук у него хитрою собакою.

На другой день он упросил няньку взять его с собою опять в гости. Она и взяла. Только дорогой вспомнила, что ей нужно было зайти к знакомой, а ей почему-то не хотелось его туда вести. Вот она усадила его под забором на улице, наказав строго не сходить с места: «А [то] тебя собаки съедят». Распорядившись так, пошла к своей знакомой, да там и пропала.

Долго он сидел под забором молча и только тихо улыбался, когда поворачивал лицо к солнцу. Наконец он начал плакать, сначала тихо, а потом громко. На плач его сбежались деревенские дети и, окружив его, долго смотрели на него, не зная, что оно и откуда оно. Наконец два-три мальчика повзрослее предложили ему идти к [ним] в избу. Но он отвечал им, что он слепой, дороги не видит. Один мальчуган, побойчее, взял его за руку и повел к своей избе и дорогою, для потехи товарищей, заставлял его на ровном месте скакать, говоря ему: «Скачи, здесь яма или лужа».

После многих перескоков, наконец, привел его мальчик в свою избу. В избе старуха накормила его щами и пирогом с кашей, отвела на барский двор и представила самой Марье Федоровне. А Марья Федоровна, предупреждая несчастье, могущее случиться от подобного своевольтва, велела его выпороть хорошенько при себе лично, чтоб не бродяжничал-де.

Долго после этого бедный Коля не выходил из своей конуры.

Однажды в воскресенье благовестили к обедне, и звуки колокола тихо долетали до бедного Коли. Он молча с улыбкою слушал, пока звуки затихли, а потом спросил свою няньку:

— Что это такое гудело?

— Вишь, гудело! Это не гудело, а к обедне благовестили, — отвечала с неудовольствием нянька.

— К какой обедне? — немного помолчав, спросил ее Коля.

— Известно, к какой. Богу молиться в церкви.

— В какой церкви? (Заметьте, Коле пошел уже двенадцатый год.)

— В какой? Вон, что в селе.

— Пойдем и мы туда.

— А забыл, как онамедни... Хочешь еще?..

Коля вздрогнул и замолчал.

Каждый день Коля прислушивался, но звуки колокола не долетали до его конуры. Наконец в следующее воскресенье он опять их услышал и радостно вскрикнул: «Опять загудело!»

— Так что ж, что загудело?

— Нянюшка! Голубушка! Родная ты моя! Поведи меня в церковь!

И он так жалобно и трогательно просил ее, что та, наконец, тронулась его мольбами и, придевши его во что Бог послал, повела в церковь.

В продолжение обедни Коля стоял как окаменелый. Его сильно поразило никогда не слыханное пение и чтение. И когда прерывалось то или другое, то он, как бы все еще слушая, тихонько склонял голову и едва заметно улыбался. Обедня кончилась, а он все еще стоял на одном месте и дожидался пения. Наконец нянька взяла его за руки и вывела из церкви, сказавши, что для него другой обедни не будут петь.

Мужички дивились на своего слепого барчонка и вместе удивлялись, что ни один из них не видел, чтобы слепой барчонок хоть раз в церкви перекрестился. Первое, чему учит мать-християнка едва начинающее лепетать дитя свое, это складывать три пальчика, креститься и произносить слово «Бозя».

У бедного Коли рано взяла судьба эту неясную наставницу, а мачеха об этом забыла, и так он, уже двенадцатилетний мальчик, не знал ни одной молитвы и не умел даже перекреститься!

Священник не мог и подозревать этого. Тем более, что священник являлся в доме только в известные дни в году, ему платили, как медику за визит, и больше ничего. И большая часть наших помещиков на таком точно расстоянии, как и Марья Федоровна, держат сельских священников. Это истинная правда! И это невыразимо грустно!

После обедни [священник] зазвал к себе Колю, познакомил его с своим сыном Ванюшей, годом старше Коли, и, покормивши обедом, дал ему просфирку и наказал няньке, чтобы она его каждое воскресенье приводила к обедне.

Неделю целую Коля почти не спал, все прислушивался колокола. Наконец, дождался: в следующее воскресенье зазвонили к заутредне. Он в восторге закричал: «К обедне! К обедне пойдем, няня». — А няня его спала. Он нащупал ее постель, разбудил ее и просил, чтобы она вела его в церковь.

— Ах ты, полунощник неугомонный! — закричала нянька спросонья. — Какая теперь церковь! Благо слепой, так тебе все равно, ночь ли, день ли.

И, поворотившись на другой бок, сейчас же захрапела. Коля, немного помолчав, принялся плакать и проплакал до благовеста к обедне. Тут снова он принялся просить свою няньку, чтобы вела его к обедне. На этот раз нянька согласилась.

Священник зазвал его после обедни опять к себе, и угощал по-прежнему обедом, и наказывал, чтобы он не ленился посещать храм Божий. Коля сказал ему, что он готов идти в церковь, как только колокол слышит, но что нянька не хочет его вести. Священник пригрозил няньке, что если она его не будет водить в церковь, то он ей причастия не даст. Нянька испугалась. И с тех пор Коля после нескольких ударов в колокол исправно являлся в церкви.

Прошло не более полугода с тех пор, как Коля начал посещать церковь и священника, как он знал уже наизусть заутреню, обедню и вечерню, несколько десятков псалмов, все воскресные Евангелия и почти все послания апостола Павла. А Ванюша попovich, подруживши с ним, выучил его [читать?] наизусть молитвы утренние и на сон грядущий. А кроме всего этого, он не нуждался в провожатом; он сам ходил и в церковь, из церкви заходил к священнику и от него возвращался в свою конуру совершенно как зрячий, так что няньке оставалось только спать.

Иногда приходил к нему гостить Ванюша попovich и приносил с собою или Псалтырь, или Священную историю. А если была погода хорошая, то они гуляли по саду или купались в пруде.

Так прошло и еще лето. Ванюшу попovichа отвезли в семинарию. Бедный Коля опять осиротел. Зато читал он наизусть Псалтырь, Священную историю и изучил все тропинки в саду.

Марья Федоровна зорко следила за его необыкновенными способностями и не мешала им развиваться, не видя в том никакого препятствия сделать со временем своего Ипполита настоящим хозяином имения.

Ипполитушка тоже вырастал, как преслаутый богатырь, не по дням, а по часам, и купался, как говорится, как сыр в масле. Зачерствелая ко всему, Марья Федоровна к сыну своему была бесконечно нежна. Позволяла ему все, что только позволяет дитяти глупо любящая мать. Ему уже кончалось десять лет, а мать и не думала начинать его учить грамоте. «Выучится еще, — говорила она соседкам. — Зачем прежде времени изнурять дитя». И дитя продолжало развиваться между няньками и между горничными.

Однажды священник, проэкзаменовав Колю первую кафизму, заставил его прочитать в церкви в субботу за вечерней. Коля прочитал, как будто бы по книге. В воскресенье прочитал заутреню и «Первый час», а за обедней «Часы» и 25 псалом. Прихожане и сам священник восхищались чтением Коли. Только некоторые набожные старушки заметили, что хорошо-де слепой барчонок читает, только больно жалостливо.

Церковь для его души сделалась одним-единственным прибежищем, куда он приходил, [как] к самому милому другу, как к самой нежной матери. Возвышенные простые наши церковные напевы потрясали и проникали все существо его. А божественная мелодия и восторженный лиризм Давидовых [псалмов] возносил его непорочную душу превыше небес.

Так укреплялася и мужала его детская душа для грядущих ужаснейших страданий.

Священник, а в особенности причет церковный, полюбил его, как безмездного и самого усердного помощника. Часто, например, случалось, что он придет и сидит около колокольни во ожидании вечерни или заутрени. Пономарь, приняв благословение от священника на благовест к вечерне, идет, отпирает церковь, а его посылает на колокольню благовестить. Он и благовестит себе, пока трижды пятидесятый псалом не прочитает.

Или случится покойник в селе, дьячка просят Псалтырь прочитать над покойником, а он попросит Колю. И Коля, взявшись за полу или за палку, идет за мужиком, куда его приведут; придет, станет, прочитает «Трисвятое», «Приидите» и начнет с «Блажен муж», даже до «Мал бех», — хоть бы тебе в одном слове ошибся. А старушки, слушая его, плачут, потому что он читал чрезвычайно выразительно и в голосе его было что-то задушевно-трогательное.

Как же его было не любить причетникам?

А бывало, настанет Великий пост, то он [по] целым дням и домой не приходил. Зайдет, бывало,

к дьячку или священнику, пообедает, а там, глядишь, и на повечерие пора благовестить. А после благовесту становится посередине церкви и начинает читать большое повечерие. И когда дойдет до «С нами Бог», остановится, переведет дух и чистым сердечным тенором с расстановкою прочитает:

«С нами Бог, разумеете, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог».

Без сердечного умиления слушать нельзя было, когда он прочитывал эту молитву.

После повечерия, когда священник прочитал отпуск и Коля вместе с дьячком и священником тихо и уныло пел: «Все упование мое на Тя возлагаю, Матерь Божия», — редкий из прихожан, выходя из церкви, не заплакал.

Марья Федоровна видела в Коле слепого идиота и больше ничего. Не мешала ему хоть, ежели хочет, даже и поселиться на колокольне. Одевала она его, по ее мнению, для слепца даже франтовски, т. е. две пары демикотонного платья в продолжение года, полдюжины рубах домашнего холста и прочее. Чего ж больше! Квартира — целый флигель. По ее выражению, хоть собак гоняй. Одно только, что Бог зрение отнял, так она этому не причина.

Соседки сначала говорили ей, что не мешало бы его отдать в институт слепых, все-таки лучше.

— Э, матушка! — отвечала она им. — Зрения ему не возвратят, а слепого чему они его научат?

Соседки, разумеется, противуречить не смели ей и единогласно соглашались с такими практическими доводами.

Вследствие такой-то политики Коля был предоставлен на произвол случая. И хорошо. Случай сроднил его невинную, восприимчивую душу с святыми словами и звуками. И он, возвышаясь духом в звуках божественной гармонии, был тысячу раз счастливее тысячи тысячей зрячих людей, чего, разумеется, Марья Федоровна не могла подозревать. А иначе она, пожалуй, запирала бы его в своей конуре на время богослужения.

Так как для него не существовало дня, то Коля часто проводил летние ночи или в саду, или под колокольнею, читая вслух свой любимый псалом:

«Не ревнуй лукавнующим, ниже завидуй творящим беззаконие».

Крестьяне сначала боялись ходить ночью мимо колокольни, думали, что мертвец какой-нибудь неотпетый сам по себе отходную читает. Но после, когда узнали, что это слепой барчонок пробавляется, то проходили в полночь мимо церкви, даже и не крестились.

Некоторые, разумеется более или менее независимые, а потому и дерзкие, вольнодумки-соседки напоминали иногда Марье Федоровне, что Ипполитеньке уже четырнадцатый годочек, что пора бы его уже и грамоте учить. «Дуры вы, — думала Марья Федоровна, — с своею грамотою; ведь он столбовой дворянин, помещик — да еще и помещик какой? 1000 душ чистогану. Не по-вашему — три с половиною души, да и те три раза заложены и перезаложены. Вот оно что. К нему, неграмотному, вы же, грамотные, придете да в ноги поклонитесь».

Такими видимыми аргументами доказывала она бесполезность грамоты для своего милого Ипполитеньки. Однако ж, как ни глубоко она веровала в свои доводы, а все-таки в одно прекрасное утро послала в экономическую контору за писарем Федькою и велела ему учить Ипполитеньку грамоте. «Так, для проформы», — говорила она.

Ипполитушка, кроме того, что был самый избалованный ребенок, оказался еще и необыкновенно туп. Ученику, разумеется, ничего, а крепостного учителя таки частенько водили на конюшню. (А на конюшню известно зачем водят.) Бедный Федька мучился, мучился с своим пустолобым учеником, наконец, хватился за ум. Однажды Ипполитушка в числе игрушек принес в учебную комнату и несколько медных пятаков. Федька смекнул делом. Расспросил у ученика, откуда он взял эти кругленькие игрушки, и тот сказал ему, что у маменьки под кроватью полный мешок лежит этих игрушек.

— Так вот что, Ипполитенька, — сказал вкрадчиво Федька. — Хотите вы совсем не учиться?

— Хочу, — отвечал ученик весело.

— Так подарите мне сегодня эти игрушки и ступайте гулять на целый день. А завтра, когда придете учиться, то приносите еще, и, если можно, захватите побольше. Только смотрите, чтобы маменька не видала, а то она все-таки будет заставлять вас учиться.

Напрасно наставник хлопотал: ученик уже давно имел ясное понятие о художестве, называемом воровством. Нянька Аксинья уже года три как пользуется от своего питомца краденым сахаром, конфетами и разными лакомствами, в том числе изредка и медными круглыми игрушками. Следовательно, предосторожности были совершенно лишние.

На другой день, по условию, ученик принес учителю штук десять пятаков — и был свободен от ученья. На третий день сумма была увеличена, на четвертый день тоже. День за днем продолжалось то же и то же — так что к концу месяца мешок уже был пустой.

Когда объявил ученик своему наставнику об этом истинно печальном происшествии, то наставник, подумавши немало, сказал:

— А не заметили ли вы, Ипполит Иванович, где у маменьки хранятся такие же игрушки, только беленькие?

— Не знаю, не видал! — отвечал ученик.

— А когда не знаете, так садитесь учиться!

— Я завтра же узнаю, — завопил испуганный ученик, — и принесу тебе сколько угодно, только не учи меня.

— Хорошо, посмотрим. Идите гулять, только помните: до завтрашнего дня.

А на завтрашний день понадобились на что-то медные деньги Марье Федоровне. Она к мешку, а мешок пустой. Горничных и нянек налицо. Явились те и другие.

— Вы! — говорит Марья Федоровна, — такие и сякие, деньги из мешка вытаскали?

— Нет, барыня, мы и не видали.

— Розок! — крикнула она лакею.

Явились розги и еще два лакея. Началась пытка. Перебрали всех. Аксиньи не было дома, послали и за ней. Приходит Аксинья и говорит: «Да вы, — говорит, — барыня, за что людей мучите? Барчонок-то деньги перетаскал своему учителю».

Дорого же поплатилась бедная Аксинья за свою дерзость. Ей было отпущено вдвое против

прочих.

Отпустивши горничных, Марья Федоровна пошла по комнатам искать Ипполитеньку. Но Ипполитенька, как ни был туп, смекнул, однако же, что недаром девки благим матом завыли, и, не дожидаясь конца вытью, убежал в сад. После тщетных поисков в комнатах Марья Федоровна разослала всю дворню и сама пошла искать Ипполитеньку. А он, не будучи дурак, пока есть не хотелось, сидел в кустах, а когда увидел, что обед пронесли к слепому Коле, и себе пошел к нему во флигель и без церемонии истребил его скудную трапезу. Но, увы! Тут его за трапезою и накрыла сама Марья Федоровна.

И досталось же бедному Коле за укрывательство вора! Кроме ругательств, попреков и угроз, ему не велено было давать ничего, кроме куска черного хлеба и ковша воды, впредь до разрешения.

Нежно, ласково, настояще по-матерински, выведала Марья Федоровна от Ипполитеньки, когда и кому он отдавал деньги. И, узнавши все обстоятельно, велела Федьку-наставника выпороть хорошенько и отдать на скотный двор до Кузьмы и Демьяна. А там в город, да и в солдаты. Сказано — сделано.

Теперь оставалось подумать о Ипполитеньке, что с ним делать. Ведь ему уже шестнадцатый год пошел, а эти изверги его в деревне, пожалуй, испортят. Нужно отвезти его в Петербург и отдать в какой-нибудь благородный пансион. Так думала Марья Федоровна, так и сделала.

Оставивши наказ, или инструкцию, приказчику насчет управления имением, она вооружила снова ремонтерскую бричку и, взявши милое чадо свое и любимую его няню Аксинью, отправилась в Петербург, не простившись даже с самыми близкими и самыми долготрапезными соседками своими.

Теперь ей незачем сообщать им, куда она намерена отдать своего сына на воспитание. Да и то еще: их, пожалуй, пригласи, а они проведуют еще как-нибудь о поступке Ипполитеньки. Тогда на всю губернию ославят вором, а того, дуры, не рассудят, что он еще дитя!

Приехавши в Петербург, она остановилась не на Песках, как можно было предполагать, а в Ямской слободе, около церкви Ивана Предтечи, на постоялом дворе.

На другой день она отправилась сама поискать квартиру, потому что на постоялом дворе и неудобно, и грязно, а главное, Дорого; она же намеревалась остаться в Петербурге по крайней мере года два, если не более.

Выйдя за ворота, она перекрестилась на церковь (с некоторого времени она сделалась чрезвычайно набожна) и, не переходя Лиговки, пошла к Знаменью. У Знаменья остановилась, посмотрела вдоль туманного Невского проспекта, помечтала немножко о своем давно прошедшем и, перейдя Невский проспект, пошла на Пески, прямо к известному домику о четырех окнах с мезонином.

В одном из окон этого домика торчала на болванчике та же самая шляпка, что торчала и назад тому десять лет. А в прочих окнах торчало по девушке, как будто они десять лет и с места не сходили. В числе этих девушек была и Лиза; но уже не та восьмилетняя, рябенькая, безмолвная Лиза. А сидела у окна, сложа руки и опустя на высокую грудь кудрявую прекрасную голову, девятнадцатилетняя, вполне развившаяся, как роза, пышная красавица.

На свежем, молодом ее лице и следов не осталось прежних рябин, нужно было близко и внимательно присматриваться, чтобы их заметить.

В то самое время, как проходила мимо окон Марья Федоровна, Лиза подняла свои длинные бархатные ресницы, взглянула в окно и побледнела. Она, бедная, узнала свою мачеху. И ей разом представилося все ее горькое, гнусное прошедшее.

Она закрыла лицо руками, хотела встать со стула, но не могла. Приподнялася еще раз — и без чувств повалилася на пол.

Подруги подняли ее и унесли за ширмы.

Марья Федоровна, проходя мимо окна, и не подозревала, что она была причиной такой катастрофы. Она вошла себе спокойно на давно знакомый ей дворик, подошла к известной лачуге близ помойной ямы и постучала в маленькую, наскоро сколоченную, но уже весьма ветхую дверь. Дверь с каким-то дребезжаньем отворилась, и перед нею явилась Юлия Карловна с опрокинутою чайною чашкою в руке. (Юлия Карловна к бесчисленным своим профессиям прибавила еще одну — гадание на кофе.) После первых ахов на пороге Марья Федоровна была введена в хижину, и тут же торжественно старые приятельницы поцеловались.

Когда Юлия Карловна пришла в себя от внезапного потрясения и усадила свою дорогую гостью на полусломанном стуле, тогда представила ей молодую, стройную и весьма бледную девушку с черными большими и заплаканными глазами, всю в черном.

— Рекомендую вам, — сказала Юлия Карловна, обращаясь к Марье Федоровне, — моя хорошая, можно сказать, приятельница, мамзель Шарнбер, тоже моя землячка, только по отце. Из хорошей фамилии. Я им сейчас гадала на кофе, и так прекрасно, так прекрасно выходит, что лучше требовать нельзя, а они все не верят и плачут.

— Я уж два года верила, — тихо проговорила девушка.

— Так как же, матушка, и по десяти лет ждут, да не плачут, — с неудовольствием проговорила Юлия Карловна. — Что ж делать? Такая ваша судьба. А коли наскучило так дожидаться своего суженого, то я давно предлагаю, переходите ко мне в дом. Если не хотите вместе с барышнями, то займите мезонин. Я с вас не бог знает что возьму. И мне прибыль, и вам не в убыток.

Девушка заплакала и едва проговорила: «Прощайте!» — вышла из комнаты.

— Прощайте. Заходите завтра. У меня будет свежая гуща, я вам еще поворожу, — говорила Юлия Карловна, провожая свою пациентку глазами. И когда та притворила за собою дверь, Юлия Карловна прибавила:

— Больно горда! Подожди еще годик-другой своего возлюбленного, небось переменишься, просишься будешь — не пущу, черт ли тогда в тебе. Ты и теперь смот[ришь] старухой, а тогда на тебя никто и взглянуть не захочет.

— Вот, Марья Федоровна, вот где истинное несчастье, — обратилась она к своей гостье, как бы умоляя о сострадании. — Видели вы? Ведь, можно сказать, красавица собою, благородных родителей дочь. И пропадает, ни за что пропадает, и так-таки и пропадет. А кто? Сами же родители и виноваты, никто другой!

Жили они, матушка вы моя, в Кронштадте при должности, и при хорошей должности, при каких-то магазях. Каждую неделю вечера давали. И повадился к ним в дом какой-то мичман. Ну, известное дело, молодой мужчина, молодая девушка, увиделись раз, другой и влюбились

друг в друга. А там и до греха недолго. Так и случилось. Бывало, в доме танцы да плясы, а они незаметно выйдут на двор или на улицу, да укроются шинелью, да воркуют, что твои нежные голубки. А мать-то сама, чай, с молодыми офицерами амурничает. Я отца и не виню. Не мужское дело смотреть за дочерью. А мать, мать всему причина. Она видела, старая дурище, что молодой человек около дочери увивается. Что бы спросить: «А что тебе, голубчик, надо? Когда так только, куры-муры, так вот тебе и двери. А коли на сурьез пошло, женись». А то думают: «Ничего, пускай себе молодые люди побалуют. Он человек благородный, лишнего себе ничего не позволит». А вот он и не позволил, благородный-то человек. Дело-то сделал, да и перевелся в Астрахань или куда-то еще дальше. А сами-то тогда только заметили, когда начали соседи пальцами на дочку-то показывать. А вечер-то сделают, залы осветят, а гостей-то никого, разве два-три пьяные ластовые забредут. Видят, что дело-то плохо, давай из Кронштадта убираться. Теперь вот в Петербурге и проживается без места. А она, дура, воровит. Да, много я тебе выворожу. Приедет он тебе сейчас, держи карман. Не видал он, вишь, краше тебя. Говорю: «Переходи ко мне, пока еще хоть что-нибудь осталось». А то так ведь состареется. Ох, горе, горе, как подумаю! — прибавила она со вздохом.

— Вот что, Юлия Карловна, — сказала Марья Федоровна после долгой паузы. — Я к вам имею великую просьбу.

— Какую, Марья Федоровна? Все на свете для вас!

— Найдите для меня небольшую квартирку, так комнатки три. И, если можно, чтобы близко был какой-нибудь благородный пансион. Я, знаете, привезла сына.

— Есть, есть благородный пансион. Мадам... мадам... как бишь ее... квартира... квартира... — И она начала считать по пальцам дома всего квартала, в котором находился благородный пансион мадам N. — Ну, да как-нибудь найдем, — прибавила она, подобострастно глядя на Марью Федоровну.

— Вы мне сделаете большое одолжение. Только не больше — комнатки три. Я совершенно разорилась, совсем теперь без денег. Скотские падежи, да неурожаи, да пожары совсем меня доконали. — И Марья Федоровна чуть-чуть не заплакала.

— Ах! да! — сказала она после длинной паузы. — Чуть-чуть было не забыла. Ну, что моя Акулька у вас подделывает? Я думаю, уже большая выросла?

— Пребольшущая! И какая мастерица! И какая красавица, просто прелесть! Только она что-то все скучает.

— Молода, ничего больше. А вот что, Юлия Карловна, не сделаете ли вы ей партию? Она мне теперь не нужна. Я буду жить в Петербурге, а здесь своя швея только лишняя тяжесть. Сами знаете.

— Партия-то ей давно находится, только я без вас не смела, а написать вам — не знала куда: адрес, что вы оставили покойной Каролине Карловне, затерялся, так вот и не знала, что делать, пока вас самих Бог не принес к нам. А партия вот такая, — продолжала она. — Кухмистер, на пятьдесят человек стол содержит, все чиновники, по пяти целковых в месяц. Шутка, какой капитал. Так нет, не хочет. Примазывается еще к ней какой-то пьянчужка чиновник, правда, молодой человек, только, видно, голь-голо. Не знаю, так ли он к ней приходит или и впрямь сватать хочет, не знаю.

— Лучше было б, если б за кухмистера, верный кусок хлеба по крайней мере. Ну, а когда не хочет, так, пожалуй, и за чиновника. Я, пожалуй, и приданое маленькое могу дать. Устройте

это дело, Юлия Карловна, я вам буду весьма благодарна.

— Постараюсь для вас, Марья Федоровна, непременно постараюсь. Куда же вы?

— Я пойду, мне пора. — И Марья Федоровна начала собираться.

— Да подождите минуточку, сейчас кофе будет готов.

— Нет, благодарю вас. Другой раз. Прощайте! Не забудьте же насчет квартиры.

— Не забуду, не забуду, Марья Федоровна!

И приятельницы расстались.

Возвратясь на квартиру, Марья Федоровна застала своего Ипполитушку играющим в бабки с дворниковым белокурым румяным мальчуганом. Это был первый урок на поприще образования Ипполитушки. Он этого великого искусства во всю жизнь бы не мог постигнуть в деревне, а в столицу не успел приехать, как на другой же день постиг, что такое значит свинчатка.

Дня через два понаведалась Марья Федоровна к своей приятельнице узнать насчет квартиры. Квартира была приискана усердной Юлией Карловной именно такая, какая ей была нужна: и светленькая, и уютненькая, а главное, дешевенькая, и почти рядом с благородным пансионом, т. е. с приходским училищем.

Выпивши чашку кофе, или, лучше сказать, цыкорью, у своей приятельницы, они пошли посмотреть квартиру. Проходя через дворик, они услышали в модном магазине дребезжащие звуки фортепьяно и пронзительно визжащий женский голос и вторивший ему хриплый мужской бас, твердо и внятно выговаривавший слова песни:

Во лужах, лужах, лужах,
В монастырских лужах.

Приятельницы переглянулись и, улыбнувшись, вышли на улицу. Дорогою Юлия Карловна жаловалась на неприятности и хлопоты, сопряженные с подобным заведением, особенно в таком захолуствии, как Пески, куда порядочный человек боится и заглянуть. «Хорошо еще, — говорила она, — если эти беспокойства вознаграждаются, а то хоть ваша Лиза, то бишь Акулька, бог ее знает, что с нею сделалось: совершенная деревяшка — ни приласкаться, ни слова сказать, сидит себе, как заколдованная. Я не знаю, что с ней и делать. Ни себе, ни людям, только даром хлеб ест».

— Замуж, замуж ее, Юлия Карловна, — говорила Марья Федоровна. — И чем скорее, тем лучше.

— Да кто возьмет ее из такого места?

— Возьмут, только посулите приданое. А уж как бы я вам была благодарна, Юлия Карловна, если бы вы ее хоть как-нибудь пристроили. — Да... — как бы вспомнив, прибавила Марья Федоровна. — О чем думала, то и забыла. Нет ли у вас, Юлия Карловна, знакомого какого-нибудь чиновника, мне нужен стряпчий, только, знаете, недорогого, потому что дело грошовое, из одной амбиции тягаюсь, уступить не хочется.

— А как же, есть, есть. Прекрасный человек, а уж делец какой, так просто прелесть. Только немножко горького придерживается. Ну, да это ничего, кто его теперь не придерживается? Да если бы не он, не сдобровать бы мне с вашей Ли... Акулькой.

— А что такое?

— Да помните, моя товарка, с которой мы вместе магазин содержали, дитя наговорило ей бог знает чего, а она сдуру и ну... Чуть-чуть было не утопила, да, слава Богу, умерла. А все-таки я благодарна Кузьме Сидорычу.

Марья Федоровна шла молча, как бы что-то соображая, и, перейдя на цыпочках грязный переулок, обратилась к Юлии Карловне [и] сказала:

— Ведь у меня дело самое ничтожное. Нет ли у вас какого-нибудь простого писаря? Я сама буду ему говорить, что писать.

— Есть и писарь, из самого главного штаба. И уж как он за вашей Акулькой ухаживает, так просто прелесть. А знаете что? — прибавила она, подумавши. — Чего долго хлопотать? Вы посулите ему что-нибудь, вот вам Акульке и карьера.

В это время они подошли к весьма не новому домику с билетиком на воротах, который гласил, что здесь отдается квартира и угол. Они постучали в затворенную калитку. На стук вышла, вместо дворника, дряхлая старушка в чепце и впустила их во двор.

Квартира оказалась как раз по руке Марье Федоровне: и светленькая, и уютненькая, точь-в-точь как говорила Юлия Карловна. Только одно... немножко дороговато: 10-ть рублей серебром в месяц с дровами. Этак недолго, пожалуй, и покотилровку проживешь. Она попробовала было заговорить с хозяйкой дома о том, что она почти нищая, что она вдова беззащитная. Но хозяйка была непоколебима, а чтобы скорее покончить, она сказала, что она сама сирота бесприютная и вдова беззащитная и что ей укрывать и кормить не из чего. «И если б вы были не женский пол, а мужской, то и за двадцать бы целковых не пустила, потому что наше дело женское, все случиться может».

Марья Федоровна молча вынула рубль и, отдавая хозяйке, сказала сухо: «Квартира за мной, я завтра переезжаю».

И, действительно, на другой день она угощала уже Юлию Карловну хоть и жиденьким, но настоящим кофе у себя на новосельи.

Аксинья, нянька, успела уже поссориться с хозяйкой, а Ипполитушка, упражняя свои руки в метании бабки, выбрал мишенью белого петуха, тщательно перебиравшего мусор на дворе. Удар был просто гениальный. Бедный петух только крыльями судорожно потряс и тут же ноги протянул.

— Ай да свинчатка! — воскликнул Ипполит в восторге. — Недаром маменька гривенник заплатила!

О трагической кончине белого петуха быстро дошли слухи до ушей хозяйки. В доме поднялся содом, и такой, что если б не посредничество Юлии Карловны, то Марье Федоровне пришлось бы [в] тот же день очистить уютненькую квартирку. Дело, однако ж, кончилось полтинником.

Это неприятное происшествие имело ту свою хорошую сторону, что оно напомнило Марье Федоровне о том, зачем она приехала в столицу. Она тут же обратилась к Юлии Карловне и просила ее, чтобы она завтра же, если можно, прислала к ней на дом какого-нибудь учителя из благородного пансиона, что она намерена сначала дома, приватно Ипполитушку приготовить, а потом уже совсем в пансион отдать.

Сказано — сделано. На другой же день явился педагог из приходского училища, и уговорились они, чтобы Ипполитушка ходил к учителю на квартиру до обеда и после обеда, что для него будет так веселее, потому что у педагога училось на квартире еще несколько мальчиков.

И это дело кончено. Теперь оставалось еще одно и чуть ли не самое трудное. Марье Федоровне необходимо нужно уведомить письмом одну свою protégée, соседку, о смерти Лизы, случившейся как раз в день ее приезда в Петербург. Кто же ей напишет такое хитрое письмо? Самой написать, так, пожалуй, засмеют, потому что она едва может кое-как свою фамилию нацарапать. Просить рекомендованного писаря ей бы не хотелось, тем более что он еще и знаком с Лизой, хоть он и не знает, что она Лиза, а черт его знает, может быть, и знает! Нет, ему нельзя доверить такую важную корреспонденцию.

— Ах я дура! — воскликнула Марья Федоровна после долгого размышления. — Да чего же я думаю? А учитель-то на что?

Сейчас же послала Аксинью просить учителя к себе. Когда тот явился, то она, под видом испытания, просила его написать коротенькое письмо, а [о] чем писать, то рассказала ему на словах.

Педагог выслушал и, подумавши немало, сказал:

— Тема сурьезная, нужно обдумать. Я сначала так только набросаю, а потом уже, если опробуете, то и перебелю. Завтра будет готово!

— Хорошо, так вы принесете ко мне, когда будет готово.

И они расстались.

Через день или через два явился педагог к Марье Федоровне с великолепной рукописью под мышкой. Хозяйка просила его садиться, он смиренно сел на стуле и развернул манускрипт, образец каллиграфии. Марья Федоровна, полюбовавшись почерком, просила педагога прочитать. Он прочитал или, лучше сказать, продекламировал свое произведение. И когда кончил, то не без самодовольствия взглянул на Марию Федоровну и почтительно передал ей рукопись.

Марья Федоровна осталась письмом весьма довольна и, позвавши Аксинью, приказала ей сварить кофе. А в ожидании кофе просила еще раз прочитать письмо, только не так громко.

Ободренный столь лестным вниманием, он прочел еще раз, правда, без того сильного выражения, но зато с более тихим и глубоким чувством. Так что когда он прочитал фразу: «И ее милый взор сокрылся от меня навеки», — то Марья Федоровна даже платок поднесла к своим глазам. Это, разумеется, не ускользнуло от взоров счастливого автора и было для него паче всяких благодарностей.

Марья Федоровна, угостивши сочинителя, попросила рукопись себе на память, а за труды предложила ему (правда, дороговато, но ведь он не простой писарь) рубль серебра. Сочинитель великодушно отказался, сказавши, что он награжден ее благосклонным вниманием выше всякой награды.

Отпустивши еще несколько любезностей насчет чувствительности сердца и образованности ума своей покровительницы, т. е. Марьи Федоровны, педагог раскланялся и вышел.

На другой день Марья Федоровна сама понесла письмо на почту и там уже поймала какого-то

почтальона и попросила его взять штемпельный конверт и запечатать письмо и адрес написать.

— И эта забота кончена, — сказала она, выходя из почтамта.

Теперь осталась одна, последняя и самая большая забота — устроить карьеру Лизы, и тогда она совершенно спокойно может заняться воспитанием Ипполитушки.

Время шло своим чередом. Прошло уже полгода, прошло и еще несколько месяцев, а карьера Лизы все еще не сделана. Юлия Карловна ежедневно заходит к Марье Федоровне на чашку кофе и сообщает ей самые неинтересные новости, а о свадьбе Лизы никогда ни слова. Самой же ей заводить речь не хотелось, чтоб не показать виду, что ее это интересует. Правда, она намекала несколько раз, так, мимоходом, и Юлия Карловна тоже отделялась мимоходом. Она не знала, наконец, что и подумать.

А Юлия Карловна тем временем увивалась около нее, как около золотого истукана, восхищалась познаниями и досужеством ее ненаглядного, уже богатырски сложенного юноши, но все это делалось совершенно по-пустому: Марья Федоровна хотя и частенько получала из деревни деньги, но ей показывала только с пятью печатями пакеты и отделялась чашкою кофе и куском пирога по воскресеньям.

Юлия Карловна терпела и ждала, а на досуге благовестила в своем квартале, что приятельница ее Марья Федоровна не кто иной, как генеральша и темная богачка. Вследствие таких слухов у Марьи Федоровны образовался порядочный кружок знакомых и даже приятельниц. Правда, иные из них, увидевши, что генеральша дрожала над куском сахара и чашкой кофе, сочли за лучшее не поддерживать такого высокого знакомства; другие же, в том числе и Юлия Карловна, держались правила — терпение все преодолевает. Правило это не совсем, однако ж, оправдывалось: Марья Федоровна была просто, что называется, кремень. Приятельницы, впрочем, не унывали. Они были люди такого сорта, которые, если узнают, что ты человек денежный, хоть ты им своих денег и не показывай, они все на тебя будут смотреть, как на Бога, и молиться и кланяться тебе, как самому щедрому Богу.

Юлия Карловна, однако ж, оказалась не так терпелива, как можно было ожидать от иностранки. Она, не совсем уповая на будущие блага, затеяла историю такого свойства.

После долгих ожиданий и глубоких соображений она сама себе сказала: «Да что же я за дура такая, сию сложа руки да смотрю на нее? Что я, разве девку-то даром что ли выкормила? Да еще и пристрой, говорит, карьеру сделай — и все это так, ни за грош. Да и девка-то еще бог знает кто такая, не то Лиза, не то Акулька, сама не знаешь, как и называть». Подождавши еще несколько месяцев, и подождавши втуне, она решила поближе познакомиться с Аксиньей, горничною и кухаркою Марьи Федоровны, так, на всякий случай, — ее профессия такого свойства, что ей всякое знакомство к лицу. Однажды она так, совершенно случайно, встретила с Аксиньей в мелочной лавочке. И просила Аксинью зайти к ней хоть завтра, если удосужится, хоть на минуточку, что она хочет поговорить с ней насчет одного весьма интересного дела. Аксинья охотно согласилась, но дело в том, что она не знала квартиры Юлии Карловны. Марья Федоровна, в случае крайней нужды, посылала или Ипполитушку на квартиру Юлии Карловны, или сама ходила к ней, но Аксинью не посылала: она боялась, и не без основания, встречи ее с Лизою. Как же быть ей теперь? Юлия Карловна подробно описала ей все улицы и переулки и с мельчайшими подробностями свой домик.

Аксинья, дождавшись воскресенья, пораньше убралась и отправилась к обедне. Все хорошо, все улицы и переулки она помнит, а дом-то она и забыла, как он прозывается; но по приметам

кое-как добралась и до дому. А чтобы больше убедиться, что это именно тот дом, который ей нужен, она зашла посмотреть в окна, не сидят ли девушки (одна из главных примет дома). Подошла она к первому окну, взглянула, видит: наклонившись за какой-то работой, девушка, лицо совсем закрыто. Она постучала в окно с намерением спросить Юлию Карловну. Девушка подняла голову, взглянула на Аксинью и побледнела. Аксинья тоже переменялась в лице. После минутного молчания девушка едва внятно проговорила: «Аксинья!» Аксинья вздрогнула: ей показалось что-то знакомое и давно забытое в этом голосе. Но она стояла, все еще не раскрывая рта. «Аксинья! — повторила Лиза. — Или это не ты, а только так, сон?..» — «Нет, это я, я, Аксинья, ваша нянька, когда помните». — «Помню! помню!» — проговорила Лиза и выбежала к ней на улицу.

Долго они, обнявшись, стояли на улице, не говоря ни слова, пока одна из подруг Лизы, находя, что подобная сцена среди бела дня и среди улицы неприлична, вышла к ним и уговорила их войти в комнату. В комнате встретила их сама Юлия Карловна, нечаянно тут случившаяся. Юлия Карловна сейчас смекнула, что их оставлять наедине нельзя, потому что они сдуру могут все ее предначертания испортить. А потому она, поздоровавшись довольно фамильярно с Аксиньей, повела их в свою комнату, усадила по углам и принялась варить кофе.

Несколько раз Лиза и Аксинья, глядя друг на друга, принимались плакать. Юлия Карловна, глядя на них, и себе плакала. Когда же они начинали разговаривать, то Юлия Карловна старалась всячески помешать им. Она находила всякое между ими объяснение несоответствующим ее глубоким планам.

Угостивши кое-как кофеишком, она проводила Аксинью за ворота и крепко-накрепко наказала, чтобы она не проговорилась, что видела Лизу. «А тебе когда только свободно, заходи к нам, Аксиньushка!» — прибавила она, прощаясь.

Аксинья, простившись с Лизою, ушла.

Юлия Карловна призадумалась. Позвала Лизу к себе в комнату, посадила около себя и с ласкою кошки начала ее расспрашивать.

— Скажи мне, милая Акулина, — говорила она, — что ты припомнишь о себе, когда ты была еще в деревне?

— Я помню только, что меня звали не Акулькой, а Лизой, что мы жили с братом в одной комнате, что брат мой Коля был несчастный, слепой мальчик и что у него сначала была нянькой вот эта Аксинья, а потом ее мачеха взяла к себе, а ему, бедному, прислала какую-то злую деревенскую бабу, которая ему есть не давала; так я его, бедного, с нею и оставила. Жив ли он теперь, несчастный? — И Лиза заплакала.

— Ну, а больше ничего не помнишь? — спросила Юлия Карловна.

— Помню еще, и никогда ее не забуду, нашу мачеху. Я здесь ее как-то раз увидела на улице и чуть не умерла со страха!

— А не помнишь ли ты, какой губернии и какого уезда ваше село?

— Ничего не помню.

Юлия Карловна не нашла нужным более продолжать свои расспросы, надела салоп и что-то засаленное, вроде шляпы, выслала Лизу из комнаты, заперла двери и вышла на улицу.

Аксинья, возвращаясь из гостей домой, еще на улице услышала шум из своей квартиры. «Уж не воры ли, Боже сохрани, забрались?» — едва проговорила она и бросилась опростетью в калитку, взбежала на лестницу, отворила дверь. И глазам ее представилась сцена, едва ли когда-нибудь прежде ею виденная, разве мимоходом, и то около кабака.

Разъяренная, как бешеная кошка, с пеною на губах, с сжатыми кулаками, стояла Марья Федоровна в наступательном положении, а против нее в оборонительном положении, в позиции античного бойца, стоял Ипполитушка. При входе Аксиньи Марья Федоровна как бы опомнилась, опустила кулаки и прошипела: «Ах ты изверг!» — и, обратясь к Аксинье, сказала:

— Сходи ты, позови ко мне этого глупого учителя. Хорошему научил он Ипполитушку.

Аксинья вышла из комнаты.

Этой почти трагической сцене предшествовало вот какого рода происшествие.

Отпустивши Аксинью к обедне, Марья Федоровна и сама пошла в церковь. Хотела было и Ипполитушку взять с собой, но у него нечаянно голова заболела, и он остался дома. А оставшись один, он отпер гвоздем маменькину шкатулку (он необыкновенно двинулся вперед на пути просвещения) и занялся отыскиванием в ней того секретного ящичка, в который маменька деньги прячет. Он уже вполне постигал, что такое значит деньги. К тому же он на прошедшей неделе удивительно был несчастлив и в бабки, и в три листика. Пробовал было поставить на кон Греча грамматику, не берут; попробовал было в орлянку, и тут не повезло; просто хоть в петлю лезь, а в долг не верят. А еще называются друзьями! Пробовал просить у маменьки, и выговорить не дала. Что же ему и в самом деле оставалось делать? Разумеется, красть. А чтобы недалеко ходить, он решился первый этюд сделать над маменькиной шкатулкой, но, как еще неопытный и нетерпеливый вор, поторопился и забыл о мерах предосторожности, т. е. забыл двери на крючок заложить. И в самую ту минуту, когда секретный ящик сделался для него уже не секретным, как в ту самую минуту тихонько вошла Марья Федоровна и остолбенела от ужаса.

Через полчаса явилась в комнату Аксинья, а вслед за нею и педагог в новом вицмундире и с самой праздничной физиономией. Но как же длинно вытянулся этот улыбающийся образ, когда приветствовала его раздраженная, аки львица, Марья Федоровна такими словами:

— Наставники! Прекрасные наставники! Покорно вас благодарю! — И она не могла продолжать от злости. А бедный педагог стоял, разиня рот и вытараща глаза.

— Покорно вас благодарю! — продолжала Марья Федоровна, едва переводя дух. — Да... наставили, научили, просветили дитя! Смотрите, любуйтесь вашим просвещением! Он, мое дитя! мое единственное дитя! по милости вашей, сударь, — вор, грабитель, а того смотри и разбойник! И всему этому вы, вы одни причиною, вы научили его обокрасть меня и после вам передать украденные деньги.

— Сударыня! — проговорил, задыхаясь, педагог. — Вы лжете! Вы просто бешеная баба и больше ничего! Я с вами и говорить не хочу, прощайте!

И он обратился к двери. Марья Федоровна не ожидала от смиренного педагога подобной рыси и так была ею озадачена, что совершенно растерялась. И пока собралась с духом, педагог был уже за воротами.

— Беги, догони, проси на минуточку, пускай взойдет, — говорила она, толкая Аксинью за двери. Аксинья побежала с лестницы, и она вслед за нею.

Через минуту педагог уже сидел на диване и хладнокровно слушал длинную повесть о подвигах и досужестве гениального ученика своего. Дослушавши с начала до конца сие повествование, он спросил:

— А зачем вы его в продолжение прошедшей всей недели не присылали ко мне учиться?

— Как не присылала? Он каждый день аккуратно ходил к вам. Даже и обедать не приходил домой!

— И в глаза не видал я его с самого воскресенья!

— Где же это ты пропадал, а? — обратилась было Марья Федоровна к Ипполитушке, но Ипполитушки и след простыл.

По долгом рассуждении, как исправить зло, решено было продолжать учение, потому что Ипполитушка, по словам учителя, не утвердился еще в письме и в русской грамматике. А во избежание его несвоевременных прогулок положено было, чтобы Аксинья отводила его поутру в школу и приходила за ним ввечеру.

Так и сделано. В понедельник поутру многие обитатели смиренного переулка заметили восемнадцатилетнего юношу в курточке à l'enfant, идущего в школу, а за ним пожилую служанку, несущую кожаный мешок с книгами и грифельную доску. Пока Ипполитушка ходил один, никто его не замечал, а как пошла за ним Аксинья, все пальцами стали показывать. Странно!

Правильное и однообразное хождение за Ипполитушкою вскоре наскучило Аксинье, и она однажды ему предложила прогуляться в другую школу, т. е. к Юлии Карловне.

Первый визит ему не совсем понравился, хотя его и потчевали леденцами, но зато второй визит пришелся как раз по нем. Юлия Карловна, чтобы свободнее поговорить с Аксиньей, отвела его к своим девицам и строго наказала им, чтобы гость не соскучился. Аксинья насилу могла его вытащить оттуда, так ему понравились девицы. Так понравились, что он начал из школы бегать к прекрасным сиренам.

Сирены вскоре начали просить у него денег за доставляемые ему радости. «Денег? А где их взять, этих проклятых денег?» — так думал он. «Хоть бы маменька скорее умирала, авось-либо не легче ли бы мне было», — так продолжал он думать.

Пока Ипполитушка забавлялся с девицами, Юлия Карловна, угощая цыкорием простодушную Аксинью, узнала от нее все, что ей нужно было знать насчет Лизы. Узнала даже и губернию, и уезд, и село как зовут. И, узнавши все это, сообщила своему знакомому писарю из главного штаба, который уже готовился держать экзамен на аудитора.

Будущий аудитор, узнавши такие секреты про свою милую Лизу, чуть с ума не сошел. «Это просто слепая богиня фортуна», — как он выразился в восторге.

На женитьбу, однако ж, Юлия Карловна не иначе соглашалась, как только с уступкою половины приданого, которое он со временем получит за Лизою.

Писарь, разумеется, на все согласился беспрекословно.

В заключение она научила его написать просьбу на имя обер-полицеймейстера, и они расстались.

Теперь оставалось уверить Лизу, что Аксинья — баба дура и что она все наврала, что она действительно Акулька, а не Лиза, и не барышня, а настоящая крепостная девка и что ей теперь предстоит такая карьера, что она, если не глупа будет, со временем может быть и высокоблагородной.

— Что ж, согласна ты, Ли... Акулька? — спросила она ее.

— Согласна, хоть за трубочиста согласна. Только не держите меня в этом омуте.

— Вот уж и омуте. Дом как дом. Не узнала еще, что впереди будет.

— Хуже не будет.

— Вот тебе и благодарность. Ах ты, негодная! Вишь, отъелася чужого хлеба... потаскушка! Деревенщина!..

И они чуть-чуть не подрались.

Наругавшись досыта, они, наконец, помирились, и, любезно выпивши по чашке кофе, Юлия Карловна наскоро оделася и вышла со двора, а счастливая невеста, оставшись одна, горько зарыдала. Юлия Карловна с доброй весточкой отправилась прямо к Марье Федоровне и застала ее в самом счастливом расположении духа: она получила из деревни порядочную пачку ассигнаций с известием, что слепой барич упал в канаву или в какую-то яму и изломал себе ногу.

После первых лобызаний приятельницы уселись на диване, и Юлия Карловна, немного помолчав, сказала:

— Ну, матушка Марья Федоровна, насилу-то я ее уломала. Вишь ты, за писаря, говорит, не хочу, подавай ей чиновника.

— Ах она мужичка! — проворчала Марья Федоровна. — Вишь, чего захотела, чиновника! А как возьму в деревню да отдам за пастуха на скотный двор!

— Да то ли она еще толкует. Говорит, что она не крепостная девка, а благородная.

Марья Федоровна изменилась в лице.

— Ну, да я ей показала, какая она благородная. Простозапросто по щекам, да и заставила молчать.

— И прекрасно, — проговорила Марья Федоровна.

— Да вот еще что: жених-то артачится. Меньше, говорит, тысячи рублей не возьму.

— Ах он писаришка! Тысячу рублей за крепостной девкой! Да где это видано?

— Да вишь ты, она и ему натолковала, что она не простая, а благородная.

Марья Федоровна опять смешала[сь] и, подумавши немного, сказала:

— Не возьмет ли он хоть половину?

— Я уже ему семьсот давала, и слушать не хочет.

- Не знаю, как и быть, — проговорила, как бы сама с собой, Марья Федоровна.
- Да как быть? Давайте тысячу, да и концы в воду.
- Хорошо, я согласна, только после свадьбы.
- А он просит теперь же, а без денег и в церковь не идет. А с деньгами хоть сейчас под венец.
- Ну, черт его возьми, отдайте ему деньги, а я вам после возвращу.
- Да у меня и рубля за душою нет.
- Как же нам быть? Разве последние отдать? Да с чем же я сама-то останусь? Ну, дьявол с ним, скорее бы только разделаться. Зайдите ко мне завтра, Юлия Карловна, — прибавила она, как бы опомнившись.
- Хорошо, зайду. Только завтра непременно, потому что в воскресенье можно будет и под венец. А сегодня, знаете, четверг. Нужно поторопиться.
- Так знаете что, зайдите ко мне через час. Или подождите, я посмотрю, не найдется ли у меня дома. — И она ушла в другую комнату. Вскоре раздался звук замка, и Юлия Карловна улыбнулась. Через несколько минут вышла Марья Федоровна с пачкою ассигнаций в руках.
- Как раз только, сколько нужно, — говорила она, отдавая ассигнации Юлии Карловне. Та бережно взяла деньги и, внимательно пересчитавши, положила в свой грязный мешок.
- Теперь милости просим на свадьбу. Приходите хоть в церковь.
- В церковь зайду.
- Приходите. У Знаменья будут венчаться, в 4 часа после обеда.
- Хорошо, непременно зайду.

И они расстались. Юлия Карловна, спускаясь с лестницы, прошептала: «Знает кошка, чье мясо съела». А Марья Федоровна, оставшись одна, свободно вздохнула и тоже прошептала:

— Ну, слава Богу, отделалась.

Отделалась, да не совсем, можно было б прибавить.

Долго ходила она по комнате, заложа руки за спину, как настоящая львица. Потом вдруг остановилась посередине комнаты и со всего размаху хлопнула рукой себя по лбу и вскрикнула:

— Ах я дура!! Акси́нья! А, Акси́нья! — Вбежала испуганная Акси́нья.

— Что ты, дура, глаза-то вытарщила? Беги вороти скорее Юлию Карловну. — Акси́нья выбежала.

— Тысячу рублей! Ах я дура, дура... — разговаривала сама с собой Марья Федоровна. — Тысячу рублей! Без расписки, безо всего. И кому же? Какой-нибудь... фи! стыдно и выговорить. Да что это со мною случилось? Нет, она меня непременно околдовала. Ну что, если она отопрется? А отопрется, это я наверное знаю. Ну, да черт с ними и с деньгами, пускай их куда хочет деваает,

лишь бы мне эту потаскушку с рук сбить. А то она у меня как бельмо на глазу... В воскресенье в четыре часа. Пойду, непременно пойду...

И она снова заложила руки за спину и заходила взад и вперед по комнате во ожидании Аксиньи.

А Аксинья между тем, добежавши до дому Юлии Карловны, встретила у самой калитки с Лизою.

— Здравствуй, Аксинья! Как хорошо, что ты зашла, а мне тебя очень нужно было видеть.

— Здравствуйте, барышня! Мне нужно Юлию Карловну!

— Да ее нету дома, с утра еще куда-то ушла... А вот что, Аксинья! Ты говоришь мне, что я барышня, а я такая же крестьянка крепостная, как и ты. Только ты... честная, а я... — И Лиза не могла говорить далее.

— Что вы! Что вы, Лизавета Ивановна! Да вы настоящая честная, благородная барышня.

— Да кто тебе это сказал, что я барышня?

— Ах, Боже мой! Кто сказал! Да разве не сама я вас на руках выносила? Кто сказал! Вот прекрасно!

— А Юлия Карловна говорит, что ты все врешь, что ты меня только смущаешь.

— Смущаю? Вру? Я вру? Да наплюйте вы ей в самое лицо. Я вру? Да я присягу приму. К губернатору пойду. К самому государю... Вишь, держит благородную барышню, как какую-нибудь, прости Господи, девку непотребную... да я же и вру... Нет, я докажу ей, что я еще не врала.

— Вот что, Аксинья! — перебила ее Лиза. — Ведь она меня замуж отдает.

— Что ж, и с Богом. Святое дело, коли благородный человек, потому что вам не за благородного выходить не годится.

— Он теперь еще так только, писарь. А скоро будет и благородный. ..

— То-то вот, чтоб непременно был благородный, а то как можно.

— Да я рада хоть за палача, только бы мне вырваться из этого содому... — И Лиза заплакала.

— Что вы! Что вы, барышня! Перекреститесь! Такие слова говорите — за палача.

— Ах, Аксинья! Аксинья! Если б ты знала, что я терплю здесь, ты бы не то сказала.

В это время дверь на улицу растворилась и выглянула на улицу какая-то небритая физиономия в галунах, крикнула: «Лиза!» — и дверь снова захлопнулась.

— Идите, барышня, вас зовут. И я побегу: меня, чайть, барыня-то ждет не дождется. Прощайте.

— Прощай, Аксинья! Приходи на свадьбу.

- Приду! Непременно приду! — говорила Акси́нья, перебега́я улицу.
- Где это ты таска́лася? — таким вопро́сом встрети́ла ее Ма́рья Фе́доровна.
- Да я ее не догна́ла. Бега́ла на дом, и дома́ нет. Гово́рят, как ушла́ с утра, так и не приходи́ла.
- Так ты успе́ла уже́ и дом ее прове́дать? Ах ты, негодна́я тва́рь! Да знае́шь ли ты, что это за дом та́кой? Потаску́шка ты эдака́я!
- Дом как дом, ве́дь туда́ и Ипполи́т Ива́нович изво́лят ходи́ть...
- Что?..
- Там и на́ша ба́рышня́ Лизаве́та Ива́новна жи́вут!..
- Что?
- Я гово́рю, что там...
- Молчи́, язы́к отрежу́!.. Пошла́ вон!

И Акси́нья вы́шла.

С Ма́рьей Фе́доровной сдела́лась истери́ка. А к ве́черу она́ слегла́ в посте́ль. На друго́й день обступили́ одр ее бескоры́стные прия́тельницы́ и посоветова́ли ей на но́чь напи́ться мали́ны, что она́ и сдела́ла. Хотя́ от это́го ей ничу́ть не легче́ стало́. В воскресе́нье, одна́ко ж, как ей ни трудно́ было́, она́ вы́шла со двора́ ровно́ в три часа́. Хотела́ было́ и Ипполиту́шку взять́ с собо́й, но он уше́л к учи́телю повто́рять уро́к. На улице́ попался́ ей извозчи́к (явление́ редкое́ на Песка́х). Она́ спроси́ла его́, что возме́т до Знаме́нья. Тот сказа́л ей: гривенни́к; она́ выруга́ла его́ и поплелась́ пешко́м. После́ ве́черни́ часов до шести́ сиде́ла она́ у церковно́й ограда́, а о сва́дьбе и слуху́ не было́. Нако́нец, она́ встала́ и поплелась́ домо́й, гово́ря про се́бя: «Они́ в друго́й церкв́и пере́венчали́ся. Сем-ка́ я пройду́ мимо́ дома́ Ю́лии Карло́вны». И она́ пошла́ мимо́ дома́ Ю́лии Карло́вны. Дале́ко еще́ не доходя́ до домо́у, она́ услы́шала́ музыка́ и песни́. «Так и е́сть, сва́дьба», — подумала́ она́. Она́ весе́ло подо́шла к самы́м окна́м. Взгля́нула в комна́ты, и что́ же она́ уви́дела? О, позо́р и ужа́с! Ее ми́лый и пья́ный Ипполиту́шка, в разо́рванно́й руба́шке, без подтя́жек и проче́го, для́ чего́ вы́думаны́ подтя́жки, пля́сал то́же не со́всем с трезво́ю, разо́ухабисто́ю ба́рышнею́ кома́ринского́ под зву́к уны́лый форте́пяно. (Во́т где он получи́л первы́е уро́ки в сем вели́ком иску́стве, кото́рому́ так чисто́сердечно́ уди́вля́лись солда́ты в крепо́сти Орско́й.)

Полюбова́вшись на свое́ ми́лое еди́нственное́ чадо́, на свое́го́ бу́дущего́ поме́щика, она́ кое-как пере́шла на друго́ю сторо́ну́ улице́ и села́ на пане́ли отдохну́ть. В это́ время́ калитка́ отвори́лась, и на улице́ вы́шла са́ма Ю́лия Карло́вна с ка́ким-то́ военно́м пи́сарем. На улице́ он ловко́, настоя́ще по-пи́сарски́ раскла́нялся́ и поше́л в одну́ сторо́ну, а Ю́лия Карло́вна в друго́ю.

«Так у них́ ниче́го не бывало́», — подумала́ Ма́рья Фе́доровна́ и, собравши́сь с си́лами, встала́ на но́ги и позвала́ Ю́лию Карло́вну.

Та подо́шла к ней́ как ни́ в че́м не бывало́. Раскла́нялась́ и спроси́ла о здоро́вьи.

- Здоро́вье-то́ мое́ еще́ не так пло́хо, как вы́ со мно́ю пло́хо поста́паете. Да что́ и в са́мом де́ле,
— прибави́ла она́, возвы́ся го́лос, — что́ я ва́м, ду́ра ка́кая, что́ ли, дала́сь? Где́ же сва́дьба?

— Какая свадьба?

— А что говорили, у Знаменья?

— Ах, да... и забыла. Ну, еще успеем перевенчать, было бы приданое готово.

— Какое приданое?

— Да такое, какое я вам говорила. Тысячу рублей!

— Да ведь я вам отдала.

— Вы мне должны были по контракту. За Акульку и отдали. А теперь припасайте приданое для Лизаветы Ивановны Хлюпиной. Понятно вам теперь?

Марья Федоровна не дослушала и, верно бы, тряхнулась о мостовую, если б Юлия Карловна ее не поддержала. Всю эту сцену Лиза видела из окна, и когда дошло дело до обморока, то она выбежала на улицу и, подбежавши к трогательной группе, стала пособлять Юлии Карловне приводить в чувство Марью Федоровну.

Придя в себя, Марья Федоровна оглянулась вокруг себя и, не сказав ни слова, плюнула в лицо Юлии Карловне, пошла быстро по улице.

— Что это значит? — спросила Лиза у Юлии Карловны.

— Сумасшедшая, больше ничего!

И они проводили ее глазами до угла переулка и пошли домой.

Марья Федоровна совершенно растерялась. Так часто самый смелый, самый предприимчивый злодей падает духом от одного слова, изобличающего его злодейства.

Она от бешенства рвала на себе волосы, грызла себе руки, била немилосердо Аксинью и проклинала своего милого Ипполитушку, который, во избежание чего-нибудь вещественнее проклятий, несколько дней и домой не являлся, а где он обретался, этого никто не ведал. Наконец она немного поуходилася и серьезно захворала.

Приятельницы снова хором посоветовали ей напиться малины. Она напилася, но малина не помогла, и ромашка тоже не помогла. Приятельницы охали и больше ничего. Так прохворала она месяца два. Приятельницы одна за другою ее оставили. Ипполитушка по несколько дней глаз не показывал, Аксинья одна, как верная собака, ее не оставляла.

А Юлия Карловна с будущим аудитором вот что придумали. Они написали письмо от имени Марьи Федоровны в село к священнику, со вложением пятирублевой депозитки, чтобы он вытребовал из консистории метрическое свидетельство о рождении и крещении Лизы.

Немало удивился отец Ефрем, получивши такое послание. Недавно он читал письмо, исполненное слез и вздыханий о смерти Елисаветы Ивановны, и панихиду уже отслужил за упокой ее души. А теперь требуют свидетельство о рождении и крещении. «Странно», — подумал он и послал пономаря в город за гербовой бумагой, а сам пока рассказал попадье своей о странном приключении. Попадья не замедлила сообщить о сем управительше, а управительша соседке однодворке, а соседка однодворка покровительствующей ей помещице, а помещица помещикам. Так что пока отец Ефрем получил из консистории Лизино

свидетельство, то уже вся губерния знала об этом странном происшествии, и всякий, разумеется, толковал его по-своему, но к самой истине никто и не приближался.

Отец Ефрем, получивши свидетельство, отослал его по приложенному в письме адресу, т. е. на имя Юлии Карловны.

Юлия Карловна, получивши сей драгоценный документ, показала его будущему аудитору, и решено было немедленно приступить к делу, т. е. приступить к Марье Федоровне, чтобы выдала еще тысячу рублей на свадьбу.

Сначала написали письмо. Но на письмо ответа не последовало, потому что Марья Федоровна читала только печатное, а скорописному не училась, постороннему же лицу она боялась показать письмо: она догадывалась, что письмо в себе ничего хорошего не заключало.

В одно прекрасное утро Юлия Карловна явилась за ответом сама лично и, после пожелания доброго утра, сказала:

— Я к вам, Марья Федоровна.

— Вижу, что ко мне. А зачем бы это?

— Зачем... гм, зачем? За деньгами, Марья Федоровна!

— Что, я вам должна, что ли?

— Должны, Марья Федоровна!

— А много ли, нельзя ль узнать?

— Всего-навсе тысячу рублей!

— Опять тысячу рублей?

— Точно так, Марья Федоровна!

— Ах ты, душегубка! Ах ты, кровопийца! Ах ты...

Тут уж она такие посыпала причитанья, что ни словами сказать, ни пером написать. Юлия Карловна хоть бы тебе бровью пошевелинула, как будто эти причитанья совершенно не ее касались.

— Так вы не даете тысячи рублей? — сказала она, когда Марья Федоровна немного поуходилась.

— Не даю! И не даю! — отвечала та.

— Как угодно! Значит, я завтра же могу объявить оберполицеймейстеру насчет Лизы...

Марья Федоровна только взглянула на нее, но не сказала ни слова. Юлия Карловна тоже молчала. Так прошло несколько минут. Потом Марья Федоровна молча встала, сняла со стены образ и, подавая его Юлии Карловне, сказала:

— Клянись мне ликом святого мученика Ипполита, что вы завтра же все покончите!

Юлия Карловна произнесла: «Клянусь», — и даже перекрестилась по-русски.

Марья Федоровна вынула из шкатулки пачку депозиток и, отсчитавши тысячу рублей, молча отдала деньги Юлии Карловне, а та так же молча приняла их, пересчитала и, положивши в мешок, сказала:

— До свидания, Марья Федоровна.

— Нет, не до свидания, а совсем прощайте, я завтра уезжаю в деревню.

— Да вы хоть до воскресенья подождите! В воскресенье непременно повенчаем.

— И без меня повенчаете. Прощайте!

— Ну, как хотите. Прощайте, когда не угодно. — И Юлия Карловна удалилась.

В следующее же воскресенье тихо, скромно совершился обряд венчания в Знаменской церкви. В числе прочих любопытных и Марья Федоровна была в церкви. И когда было все кончено, она подошла к Лизе и поздравила ее со вступлением в законный брак.

Лиза вскрикнула и упала в обморок. А Марья Федоровна скрылась в толпе.

Весело возвратилась она на квартиру и отдала приказание Аксинье собираться в дорогу.

— Довольно, будет с меня, — прибавила она, — навеселилась я в этом проклятом Петербурге. Теперь осталось оженить Ипполитушку, и мое дело кончено, — говорила она сама с собой.

Аксинья, видя доброе расположение своей барыни, попросилась со двора и получила позволение. Марье Федоровне и в голову не пришло, что Аксинья просилась на свадьбу к Лизавете Ивановне.

Свадьба была шумная, и больше всех отличался на свадьбе Ипполитушка. И к рассвету так наотличался, что его тут же и спать уложили.

На другой день Ипполитушка чувствовал себя дурно. И еще дурнее почувствовал он себя, когда ему сказали, что он заложил свой *макинтош* Юлии Карловне за три целковых, чтобы сделать подарок невесте. Ипполитушка, подумавши немного, отправился к Юлии Карловне, пал перед нею на колени и вымолил у нее курточку и плащ до вечера только. Юлия Карловна сжалась.

Кое-как оделся он и вышел на улицу. Куда же теперь идти? Он опять призадумался, и призадумался не на шутку. К матери он боялся глаз показать. А три целковых нужно к вечеру достать. А то Юлия Карловна и на порог к себе не пустит с пустыми руками, а это для него хуже всего на свете.

Думал он, думал, да и выдумал вот какой несложный, а между прочим, верный проект.

«Маменька теперь, — думал он, — уже третий месяц больна и со двора не выходит, следовательно, могут все поверить, что она умерла. И если я, не заходя домой, обойду всех ее знакомых и попрошу, кто что может, на погребение матери, неужли не наберу три целковых? У, какой вздор! Да одна майорша Потаскуева даст три целковых. Ура! Прекрасно! Я же тебе докажу, поганая чухонка, что я честный человек».

И, одушевленный этой истинно гениальной мыслью, он почти побежал вдоль улицы.

На другой день, часу в десятом, начали собираться приятельницы на вынос тела покойной Марьи Федоровны. Представьте себе их изумление, когда их встречала мнимая покойница, просила садиться и благодарила за память. Она думала, что приятельницы провели о ее скором выезде и пришли проститься с нею. Вскоре она сильно разочаровалась. Одна, а за ней и другая, а за другой и третья приятельница не выдержали и высказали настоящую цель своего посещения.

Марья Федоровна, как ни крепилась, однако ж не могла дослушать красноречивую повесть о похождениях своего единственного Ипполитушки. Выгнала вон своих сердобольных приятельниц и послала Аксинью за учителем. Явился скромный педагог. Она попросила его написать объявление в полицию о пропаже сына. Когда объявление было готово, она сейчас же отправила его в часть, а педагогу дала двугривенный и просила купить лист гербовой бумаги в 15 коп. серебра.

В тот же день перед вечером дали знать из части о овце обретшейся и спрашивали, что с нею делать. Она этого квартального, который пришел ей дать знать о блудном сыне, просила написать к кому следует бумагу о принятии ее сына в городскую тюрьму на сохранение.

На другой день Ипполитушка путешествовал с шнурком на руке, искусно прикрытым коротеньким плащом, и с полицейским хожалым прямо в Литовский замок.

В тот же день после обеда сидел за столом у Марьи Федоровны смиренный наставник и искусно изображал на гербовом листе прошение на высочайшее имя о написании в рядовые сына Ипполита вдовы помещицы Марьи Хлюпиной за неуважение к матери.

На прошение не замедлило воспоследовать соизволение, и в одно прекрасное утро вышел Ипполитушка из Литовского замка с партией арестантов на Московскую дорогу.

Не успел еще Ипполитушка пересчитать этапов между Москвою и Петербургом, как [к] Марье Федоровне пришел тот же самый квартальный и объявил ей, что она арестована в собственной квартире по предписанию управы благочиния. И это случилось именно в тот день, когда она собиралась оставить навсегда противный Петербург.

Квартальный вежливо раскланялся и исчез, оставив за собою след, т. е. полицейского солдата у ворот.

Неделю спустя после свадьбы Лизу вооружила Юлия Карловна и благоверный супруг ее бойко, четко и дельно написанным прошением и послали в канцелярию министра внутренних дел. Простение было принято самим министром, рассмотрено и пущено в дело. По справкам оказалось, что прошение, как ни казалось с первого раза неправдоподобным, оказалось истинным. Марью Федоровну арестовали и произвели следствие. По следствию она оказалась преступною в угнетении детей своего мужа и в намерении лишить их наследства в пользу своего сына Ипполита. За все это судом приговорена она к заточению в отдаленный девичий монастырь на вечное покаяние.

Так кончились злые ухищрения Марьи Федоровны, и она теперь, лишенная всего, даже личной свободы, в тесной, мрачной келье издыхает, как отравленная крыса в норе, как выразился автор *«Путешествия Гулливера»*.

Елисавета Ивановна, приведя дела свои к благополучному окончанию, выехала из столицы вместе с супругом своим, уже не простым писарем, а коллежским регистратором. Юлия Карловна просилась было тоже с ними в деревню, в виде маменьки или хоть ключницы, но ей решительно отказали, и она осталась по-прежнему содержательницей известного заведения.

Во всем уезде или, лучше, во всей губернии была известна история Лизиных грустных походов, вследствие чего чувствительные соседки помещицы встретили ее с распростертыми объятиями, как героиню истинно романтическую.

Вскоре заброшенное село начало обновляться. Муж Лизы оказался весьма порядочным человеком, а через год и порядочным сельским хозяином, так что брошенные части хозяйства пришли в движение и приносили свою пользу.

Словом, все воскресло с прибытием Елисаветы Ивановны. Но сильнее всех почувствовал ее присутствие бедный слепой Коля. Она с ним ни на минуту не расставалась, ухаживала за ним, как самая попечительная нянька и самая нежная сестра.

Церковь посещал он по-прежнему и по-прежнему с любовью исполнял обязанности дьячка и пономаря. Это было его самое задушевное и единственное занятие. Часто, возвращаясь ночью поздно от всенощной, он тихо и невыразимо грустно пел:

«Все упование мое на Тя возлагаю, Матерь Божия, сохрани мя под кровом Твоим».

1855
20 февраля

Джерело: *Шевченко Т. Г. Зібрання творів: У 6 т. — К., 2003. — Т. 3: Драматичні твори. Повісті. — С. 240-289.*

Постійна адреса: http://ukrlit.org/shevchenko_taras_hryhorovych/neschastnyy